

**Собеседник**

Ратнер Лилия Николаевна

Ведущий

Зайцева Юлия Эдуардовна

Дата записи

Беседа записана 3 апреля 2013 и опубликована 24 июня 2013.

Введение

Лилия Николаевна рассказывает о юности и истории семьи, об учебе в Полиграфическом институте и работе в единственной в СССР худмастерской, разрабатывающей логотипы. И в каждом рассказе есть яркий штрих эпохи. Отец (формально — атеист) оставался в Москве в октябре 1941, сжег все фотографии детей, но оставил маленький свиток Торы, а когда прошла первая реабилитация по «делу врачей», он, известный медик, чудом уцелевший, воспринял ее как трагедию: идеалы советской картины мира трескались по швам. В этой беседе очень много об истории интеллигенции: о всепоглощающем страхе, блатных песнях, о друзьях-художниках — Элии Белютине, Валентине Полякове, Эдуарде Штейнберге, Илье Кабакове и других. Особая тема в личной истории Лилии Николаевны — о долгом пути к христианству. Тут и рассказ о трагическом переживании слов наставника о несовместимости творчества и религии, и радость подлинного религиозного братства среди христиан в Армении, и короткое яркое общение с Александром Менем. Новое христианское миропонимание отразилось в творчестве: было создано несколько графических серий — «Пророки», «Народ Библии в Освенциме», серия коллажей, посвященная погибшим за веру в XX веке, написано множество статей об искусстве и издан сборник эссе «В поисках смысла красоты». Уже много лет Лилия Николаевна читает курс «Искусство и христианство» в Общедоступном православном университете, основанном протоиереем Александром Менем.

Юлия Эдуардовна Зайцева: Ну вот, конечно, хотелось бы начать с начала и поговорить о вашей семье. Расскажите, пожалуйста, о том, как семья пережила период репрессий и так далее... Кем были ваши родители?

Лилия Николаевна Ратнер: Ну, мои родители – врачи. Отец был заведующим рентгеновским отделением в такой поликлинике, в общем, второй после Кремлёвки, там лечились все наркомы. Такая была солидная...

Ю.З.: Привилегированная...

Л.Р.: Да, и он её очень любил, он её, в общем, создавал, горел просто на работе и вообще очень был там личность заметная. И жизнь была – вот эта поликлиника. И каждый раз [когда] он приходил с работы... мы знали всех его подчиненных и сотрудников, потому что он без конца о них рассказывал: кто там сказал и кто что сделал. В общем, общественной работой горел просто, стихи какие-то сочинял.

Ю.З.: А назовите его полностью, его имя?

Л.Р.: Его зовут, звали Николай Петрович Ратнер. Ну, это такое имя, которое он получил как бы в крещении, хотя на самом деле он – еврей. Но я думаю, что это не было настоящим крещением, он просто получил справку, чтобы поступить в университет. Тогда это ещё нужно было. И он, и его брат. А мама была врач, зубной врач. Мама была совсем другая. Он был очень вспыльчивый, очень человек непредсказуемый, но безумно любил детей – нас с братом, особенно меня. Очень много внимания уделял нам: были специальные дни, когда мы с ним ходили в кино, или вообще он со мной гулял, читал мне вслух. Но из-за его вспыльчивости, резкости, как-то я не очень была с ним...

Ю.З.: Контакт не очень личный.

Л.Р.: Контакта не было живого. Я его побаивалась. А мама была очень живая, весёлая: пела, смеялась и прекрасный рассказчик. Она мне рассказывала о своём детстве. И только помню, что она лежит на диване и пытается заснуть перед работой, чуть-чуть поспать, а я её всё время толкаю в бок и требую, чтобы она продолжала рассказывать дальше.

Ю.З.: Она тоже была медик?

Л.Р.: Она – зубной врач. Она читала мне стихи, от неё я получила какие-то свои первые, даже, как ни странно, религиозные впечатления, хотя дома никогда о Боге не говорилось и вообще, даже [если] я спрашивала, то говорилось всегда, что Бога нет. И вообще не было речи о Боге никогда, но мама мне читала балладу, которую я только недавно нашла в интернете, от которой я какие-то отрывки помнила – про Будду. Как толпа нищих зашла во время грозы в храм, переждать грозу, а там стояла огромная статуя Будды, и у него во лбу горел алмаз огромный. И вот один из этих нищих сказал ему речь, что вот как тебе не стыдно! Зачем мы вот нищие ходим, голодные всегда, а ты со своим [алмазом]. И дальше я помню даже наизусть немножко: «Он умолк – и чудо совершилось... пред толпою изваянье Будды преклонилось головой венчанной до земли». И что-то... «Пред толпою нищих царь вселенной, бог великий, бог лежал в пыли». Это меня поражало до невозможности просто. И тогда я получила первое представление о Боге, как о вот таком, способном на поступок милостивый. Ещё какие-то она мне читала стихи романтические. Я нашла недавно, по-моему, это автор – Мережковский. Называется «Сакья-Муни» – это стихотворение. Откуда она всё это знала? У неё была прекрасная память. Пушкина она знала много стихов. «Цветок засохший, безуханный...» – я помню, она мне читала тоже – «забытый в книге вижу я...». Вот, потом она мне читала стихотворение про какого-то венгерского молодого графа-героя, который, значит, повстанец, возглавил какое-то восстание, был схвачен и приговорен к повешению, и к нему пробралась его мать накануне казни, и он пожаловался ей со слезами, что он никогда не боялся в бою, не испытывал чувства страха, а сейчас, перед этой позорной казнью, он боится, боится дрогнуть. И она ему сказала: «Ты не бойся, потому что я пойду к властителю, брошусь ему в ноги и выпрошу тебе прощение. И если я появлюсь на балконе в белом покрывале, значит, ты прощён, если в чёрном...» И вот он идёт и улыбается, потому что на балконе стоит мать в белом покрывале... «и в самой петле –

улыбался...» Кончается так: «О, ложь святая! Так солгать/ могла лишь мать, полна боязни, чтоб сын не дрогнул перед казнью». Вот это меня воспитывало, вот такие вещи, понимаете? И когда я пошла в школу, вот я была такая, наверное...

Ю.З.: В Москве?

Л.Р.: В Москве, конечно. Мы жили в Москве, я родилась в Москве. Потом мы уехали в эвакуацию, когда началась война...

Ю.З.: А скажите, как семья пережила репрессии?

Л.Р.: Репрессии, значит. У отца был единственный брат, какой-то тоже революционер довольно известный – Александр Ратнер. Они жили в Харькове, и он был репрессирован и расстрелян, а его жена и сын, мой двоюродный брат и мой примерно ровесник, они погибли во время оккупации, были немцами расстреляны. А со стороны матери – у матери был брат, очень крупный инженер, такой Гаврила Пушкин, который строил в Горловке какой-то химкомбинат. Очень крупный инженер, учился за границей, и у него был один из первых Орденов Ленина, персональная машина, что тогда было редкостью. Он был тоже расстрелян, и описан этот процесс Фейхтвангером в книге «Москва 1937». Там он даёт признательные показания. Это, по-моему, был процесс Пятакова или Промпартии, если я не путаю. Но один из первых процессов, открытых ещё процессов. Жена его была сослана, как жена врага народа, детей разобрали родственники, а мать жены поехала к своей дочери тоже в Харьков или в Киев, не помню, и там тоже была убита во время оккупации. То есть с обеих сторон. Я считаю, моя семья уцелела просто чудом, потому что когда было «дело врачей»... Вот сейчас недавно отмечалось как раз шестидесятилетие, 5 марта, день смерти Сталина – это я уже помню хорошо, я уже была взрослая. Тогда отец пригласил к себе в качестве консультанта одного из этих профессоров, профессора Этингера, который умер во время пыток в тюрьме во время этого дела. И отца тогда сняли с работы. Ну, потом его восстановили снова, когда врачи уже были реабилитированы. Я очень тяжело это переживала, я всё понимала почему-то. Дома никогда не говорилось ни о чём.

Ю.З.: Не говорилось?



С братом Юрием

Л.Р.: Никогда! Отец, мне казалось, был такой беспартийный большевик, очень любил всё, и когда я к нему приставала с вопросами «откуда»? «почему»?.. вот комсомол не такой, как он говорит, что всё там на самом деле не так и требовала ответов. «Я тебе потом расскажу», – он говорил. Но у меня был, к счастью, старший брат, на пять с половиной лет меня старше, который до всего додумался сам, видимо, потому что ему тоже никто ничего не объяснял, и он мне многое объяснил. Потому что как раз, когда я ещё училась в старших классах школы, приходили газеты домой, и когда я раскрывала её, газету, например, там было «менделисты, морганисты» или там «безродные космополиты» – чёрными такими буквами. Я читала эти статьи, ничего не понимала, но чувствовала, что здесь какая-то угроза и какая-то ложь. Вот я очень хорошо помню это состояние. Я очень увлекалась в старших классах [театром], безумная театралка была, и я помню, что когда были «безродные космополиты», это были в основном театральные критики – их фамилии. У них были псевдонимы, а в скобках раскрывались эти псевдонимы, были еврейские фамилии. И этих всех критиков я читала запоем просто, я их очень любила, я ими восхищалась... И вдруг они оказались страшными врагами русского народа, и это всё меня, конечно, убивало. Как это? Я не понимала, в чём дело. Но мой брат, как мог, мне объяснил это всё, так что я фактически диссиденткой была ещё в школе.

Ю.З.: А как же жить с этим тайным знанием?

Л.Р.: Очень тяжело. Я помню, что у меня было постоянное чувство, что я виновата. Перед кем? Не знаю. В чём? Тоже не знаю. Но я какая-то не такая, как все. Помню очень хорошо, вот это ощущение было всегда

в школе, что я не такая, какая-то другая. Но потом я в одном из, совсем тоже в ранней юности, по-моему, на первом курсе института, меня подруга пригласила в кружок, где читали стихи, молодёжь. Ну, там в основном были студенты немного постарше нас, её пригласил молодой человек, который за ней ухаживал. И все читали стихи, ничего там не было другого – болтали, смеялись и читали стихи. Потом этот молодой человек, который её пригласил, однажды пришел, встал перед всеми на колени и сказал: «Ребята, за вами придут. Я вас заложил». Оказывается, ему было предложено – у него отец в 1937 году был расстрелян – его вызвали в органы и сказали: «Вот, создашь такую организацию, будешь рассказывать, что там говорят. Нам будешь рассказывать. Если ты откажешься, мы твою мать... твою мать пойдёт туда же, куда пошел твой отец». Ну, естественно, куда ему было деваться? И, действительно, за ними пришли. Он только нас не назвал, девочек. Девочек он не назвал. А все ребята сели, получили по десять лет как создатели.

Ю.З.: Это был какой год?

Л.Р.: Это было незадолго до смерти Сталина. Ну, они просидели четыре года, потом уже их после смерти Сталина их отпустили, но они уже были сломлены все. Среди них был отец Илья Шмаин, который тоже был совсем юный, уехал потом с родителями в Израиль. Ему было лет восемнадцать, он учился в Университете. Уехал в Израиль, там он обратился, стал священником. Потом оттуда они уехали во Францию, ну а потом они вернулись.

Ю.З.: Чего им инкриминировали, этим ребятам, тоже какую-то антисоветскую пропаганду?

Л.Р.: Да-да, не пропаганду, а что они хотели свергнуть советскую власть.

Ю.З.: Ну, это стандартное было обвинение...

Л.Р.: Да. И я помню, что в это время мы с подругой не смели сказать это дома никому. Но у нас были свои записки, какие-то свои дневнички, какие-то, фотографии...

Ю.З.: Тайны?

Л.Р.: Тайны. Ну, как у всех девочек. Мы их куда-то прятали, мы готовились к аресту тоже. Когда я шла по улице, то я всё время оглядывалась, не идёт ли кто за мной. Когда у ворот кто-то стоял, я уже потом ночью не спала, а думала, что я должна взять, как я должна одеться. Я не могла вечером быть дома, мне всё время хотелось быть где-то, где много народу.

Ю.З.: Где не найдут.

Л.Р.: Не то, что не найдут – где можно отвлечься, где светло, где играет музыка. Я ходила на концерты, в театр, чтобы не быть, не ждать этого. В общем, так проходили месяцы. Но это не значит, что мы жили в вечном страхе. Мы всё-таки были молоды, мы занимались искусством, мы смеялись, но это, можно так сказать, было вторым планом нашей жизни практически всю молодость. Когда однажды в институте одна не очень близкая моя приятельница попыталась мне рассказать, что её вызывали (а тогда вызывали и предлагали сотрудничать), я поняла, о чём она собирается мне рассказать, и я знала, что она не имеет права это делать – она не имеет права рассказывать, я не имею права слушать – я делала всё, чтобы только она мне это не рассказала. Вот такое состояние было всегда, причём понять и объяснить это невозможно было. Это вот сейчас мы понимаем, что это было на самом деле. Тогда это была такая угроза, постоянная угроза, постоянный страх ареста реального, но непонятно, почему и за что.

Ю.З.: И в общем, каждого можно было найти за что зацепить, чем шантажировать?

Л.Р.: Да, конечно.

Ю.З.: А родители тогда...

Л.Р.: Родителям вообще ничего этого не рассказывала я. Просто это невозможно. Я не могла маме рассказать анекдот, например, который мне рассказали. Потому что я думала, что она пойдёт на кухню и расскажет там, а на неё немедленно донесут. Когда было «дело врачей», мы жили в коммунальной

квартире на I-ой Мещанской, огромная квартира была, и родители всю жизнь всю эту квартиру бесплатно лечили. Но когда началось «дело врачей», то они все, когда к нам приходил агитатор (так тогда было принято: агитаторы ходили по домам за кандидата единственного), то они говорили... Они все собирались, агитатор произносил какую-то речь, а потом, значит, публика говорила: «А вы нам расскажите про «дело врачей». А то у нас тут есть врачи, а у нас кухня-то общая, как бы там чего-нибудь не подсыпали».

Ю.З.: Это всё при вас?

Л.Р.: Всё при нас, да, при детях, при нас.

Ю.З.: А потом, когда умер Сталин, изменилось отношение к семье?

Л.Р.: Я не помню. Наверное.

Ю.З.: Кто-нибудь извинился?

Л.Р.: Нет, этого никогда не было, никто не извинялся. Но когда была впервые опубликована реабилитация врачей, мне позвонила моя подруга, с которой мы вместе ходили в этот кружок, и сказала: «Ты читала сегодня газеты?» Я говорю: «Нет». – «Немедленно возьми газету и читай». Я, значит, хватаю газету – ничего нет, на первой странице – нет, на второй – нет, а на самой последней странице маленькая заметочка, что вот такие-то, такие-то, такие-то реабилитированы за отсутствием состава преступления. Это была первая реабилитация – вообще в истории советской власти кого бы то ни было. И я помню, что это было утром в воскресенье (отец ещё лежал в постели), я совершенно счастливая, меня разрывало от счастья! Я прибежала к нему и показала это. И вдруг он так откинулся на кровать молча и без всякой радости на лице, и я поняла тогда, что рухнула вся его вера, вся его система. Он всё время говорил: «Я в это не могу поверить, врач не может убивать пациента – это невозможно». Но когда это случилось... значит всё, во что он верил, тоже было ложью. Так мне кажется.

Ну, вот это была молодость, юность, самая ранняя юность. Вот такой фон у неё был всегда. И вот, например, моя подруга вот эта самая ещё дружила с сыном переводчика такого – Богатырёва, который перевёл «Бравого солдата Швейка», и сам он был переводчик и диссидент – Костя Богатырёв. Он был старше нас, но очень за ней ухаживал так, и вот вдруг она говорит: «Что-то Кости давно нет? Не звонит, не появляется...» Я говорю: «Может быть, посадили?» Она едет к ним – и действительно, его посадили. Вот такая была жизнь.



За работой

Ю.З.: А когда вы поступили в институт, и как вы пошли именно по этой стезе художественной?

Л.Р.: Ну, я очень любила... Две вещи у меня были, два больших увлечения. Очень любила литературу, потому что у нас была замечательная учительница литературы, которая влюбила меня просто в литературу. И очень любила рисовать. И мой отец, который, так сказать, внимателен был ко всем нашим интересам и увлечениям, нашёл мне вот такой институт, где это сочеталось. Это полиграфический институт, где как раз книга, художник книги. И там действительно очень хорошо преподавали литературу, очень глубоко и серьёзно: и средневековую, и западно-европейскую, и античную, так что, в общем, там не плохо. Там было немножко всё дилетантски, был как бы ещё такой отголосок ВХУТЕМАСа. Там преподаватели были вхутемасовцы ещё, не все, но многие. Ну, вообще, была очень либеральная атмосфера.

Ю.З.: Вот это удивительно!

Л.Р.: Да, это был такой интеллигентный вуз. В Суриковском, в Строгановском там уже была советская...

Ю.З.: Идеология...

Л.Р.: Идеология, и их очень муштровали, а у нас так было очень всё... Тем не менее, я, конечно, и там отличилась. Во-первых, выступать было, конечно... Это было как раз гонение на космополитов и процентная норма на евреев в институт.

Ю.З.: Это был какой год? Это конец 40-х?

Л.Р.: Нет. Ну, да. Да. Я в школе все экзамены сдала на «пять», кроме последнего – физика. Учительница, которая меня очень любила, поставила мне тройку и потом объясняла мне, она говорила: «Ты понимаешь я не имела права – ты бы получила медаль, а ты не должна была её получать». Ну я всё-таки поступила. Не с первого раза, по другой причине. Сначала я по рисунку не прошла, потому что я не готовилась. Тогда не было такого, чтобы репетиторы были обязательно. Мы сами ходили в музей и рисовали гипсы там, и сами как могли готовились. Потом я уже подготовилась, но меня срезали по литературе – мне поставили тройку. Хотя литературу я знала, как вы понимаете, на «шесть», потому что это был любимый предмет. Что-то дали по русскому, какое-то предложение надо было разобрать, ну и там к чему-то она придралась. Ну, неважно, в итоге я поступила всё-таки. Я училась очень с интересом, интересно было. Бывали такие случаи: мы идём на выставку – выставка книжной графики, большая, мы, значит, всё смотрим. А тогда президентом Академии Художеств был такой Александр Герасимов, очень влиятельная была фигура, и мы из хулиганства в книге отзывов пишем: «Всё понравилось, кроме работы Александра Герасимова» и подписываемся: «Студенты МПИ». Через три дня приходит комиссия и говорит: «Вот найдите нам их и исключите, если вы этого не сделаете, мы сами этим займёмся». Но такой был институт, что они как-то это замяли. Потом я, значит, делаю диплом (а я была такая максималистка): нужно было выбрать книгу, написать к ней объяснительную записку, как ты её понимаешь, в общем, всё это... Почему ты выбрал именно эту книгу. А я тогда уже увлекалась Пришвиным, в котором я почувствовала, я не знаю, каким-то седьмым чувством его религиозную подоплёку, хотя ничего подобного я о нём не читала никогда.

Ю.З.: Он пишет о природе...

Л.Р.: Он пишет: «о природе пишу, сам же о людях только думаю». Я почувствовала это. И такая книга была «Моя страна», которая... На самом деле, выразить это чувство в графике было очень трудно, почти невозможно, но, тем не менее, самые главные мои усилия были направлены на то, чтобы найти этот рисунок. Это его духовный путь. Книга делилась на несколько частей: север, юг, Средняя Азия – его путешествия. И всё были богоискательские у него какие-то...

Ю.З.: Между строк...

Л.Р.: Между строк. Я даже ему письмо написала, я помню, но не отправила. Недавно я его нашла – это просто трогательно невозможно! Ну, вот. Переплёт должен был быть цвета зимних сумерек, что совершенно недостижимо, особенно если учесть, что книгу эту надо издать, напечатать, всё сделать, а в типографии ледерина цвета зимних сумерек не бывало никогда. Ну, всё равно, как-то я, значит, с этим справилась. И на защите... Да, когда я написала свою объяснительную записку, то я взяла эпиграфом его же слова, что родина – это не то место, где человек родился, а то, где он обрел себя.

Ю.З.: Это в разгар борьбы с космополитизмом...

Л.Р.: В разгар борьбы с космополитизмом.

Ю.З.: (*Смеётся*) Не в бровь, а в глаз.

Л.Р.: И мой руководитель умолял меня это выбросить, это снять. Я упёрлась, как баран, и не сняла. И тогда он на защите выступил против меня, что не слыхано. Потому что никогда такого не было, чтобы руководитель проекта выступал против. Но он сказал, что она извратила нашего природоописателя, ничего подобного... нету в этой книге. Вот так. Но они всё равно умилённо смотрели на меня, зачили мне все равно диплом, поставили мне «четвёрку», правда. А на выпускном вечере он тоже со слезами молил у меня прощения. Он говорил: «Вы не знаете, какую беду вы могли накликать и на себя, и на всех нас, на институт вот этой фразой. Простите».



Лидия Николаевна Ратнер

Ю.З.: Вот достаточно было этого эпиграфа, чтобы так все повернулось.

Л.Р.: Да, да. Но это был уже, конечно, 53-й год – год смерти Сталина.

Ю.З.: Уже после смерти Сталина?

Л.Р.: Да, защита была после, и поэтому всё было уже... Буквально через несколько месяцев после. Он в марте умер, а защита была где-то в июне. Так что тут обошлось. Ну и потом я... Следующий такой яркий этап – это студия Белютина.

Ю.З.: А можно вернуться к институту? Меня сегодня просили мои коллеги из Отдела редких книг [Научной библиотеки МГУ] спросить: не слышали ли вы про Фабриканта, который заведовал кафедрой как раз в институте?

Л.Р.: Полиграфическом?

Ю.З.: Да, в вашем институте. Потому что у нас хранится архив Фабриканта, и его публикуют ...

Л.Р.: Это мне очень знакомая фамилия, но я не помню. Он тоже был художник?

Ю.З.: Он скорее искусствовед, историк искусства.

Л.Р.: Очень знакомая фамилия. Может быть, историю искусства у нас преподавал кто-то другой? А, у нас

замечательный был преподаватель истории искусства! Забыла его фамилию. Он умер потом довольно молодым. В общем, преподаватели были просто редкие, по-настоящему интеллигентные, знающие... Как же его фамилия была? Он был похож немножко на нашего Чистякова (*филолог-классик и священник о. Георгий Чистяков – прим. ред.*). Вот я его сейчас вижу его – прямо перед глазами он стоит. Ну, у нас был Андрей Дмитриевич Гончаров, он преподавал гравюру. Захаров был такой, Иван Иванович Захаров, который преподавал рисунок. Ну, в общем, это всё были замечательные люди, которые с каждым из нас как-то дружили, находили к каждому личный какой-то подход. Я вспоминаю это с большой радостью, с большим теплом. Немножко дилетантски всё было поставлено, муштры не было, но может это и хорошо – была такая какая-то свобода.

Ю.З.: А вот вы говорили про своего учителя, картины которого у вас висят...

Л.Р.: Это уже потом, когда я уже стала профессиональным художником и начала работать в Мастерской прикладной графики. Там было очень интересно. Вообще, мне везло с учителями всегда. Там художественный совет был, и главный художник был самородок и самоучка, гениальный совершенно. И художественный совет состоял из лучших художников и графиков Москвы, самых лучших: Ираида Ивановна Фомина, дочка архитектора Фомина известного, Пожарский – совершенно замечательный детский иллюстратор, Лазурский – автор шрифтов типографских. Это всё были супер-интеллектуалы. Сейчас таких людей просто нет. И это был праздник: в совете было человек двенадцать или пятнадцать – все были совершенно замечательные!

Ю.З.: Интересно, что они все сконцентрировались в таком месте!

Л.Р.: Именно там. Это не удивительно, потому что это было единственное место, где можно было всё. Можно было под предлогом, что это реклама, оформление всяких промышленных изделий, можно было любую технику, любую форму графики. Больше этого нигде нельзя было, всё было регламентировано, всё было под одну линейку – реализм, реализм, а здесь под предлогом того, что мы на Запад оформляем какую-то продукцию...

Ю.З.: Например? Что имеется в виду?

Л.Р.: Ну, например, любая техника. Мы использовали любую технику, использовали технику Матисса, например. Я помню, я делала плакат какой-то для выставки цветов или что-то такое, и я сделала его аппликацией Матисса, я помню. Для Музея изобразительных искусств тоже мы делали серию плакатов.

Ю.З.: То есть плакаты, афиши, вот это вот всё?

Л.Р.: Плакаты, афиши – да, но не только, там были и всякие упаковки также, и это всё было искусство для искусства. Это никуда не шло никогда, но каждая организация (во всем Советском Союзе это была единственная мастерская) обязана была иметь у себя свой фирменный стиль, фирменный знак...

Ю.З.: Логотип, как сейчас называют.

Л.Р.: Логотип, оформление продукции, упаковки. Потому что Запад не принимал нашего ничего, потому что у нас всё было ужасно некрасиво, торговать всем этим было невозможно. Но выполнить всё это они тоже не собирались, потому что это стоило больших денег, а у нас и так, без рекламы, всё раскупалось.

Ю.З.: У нас был дефицит всего.

Л.Р.: Дефицит был. Но на наши выставки, которые мы устраивали в лучших залах Москвы, стекались толпы. Потому что всегда это было всё ультра-современно.

Ю.З.: Это были выставки чего?

Л.Р.: Выставки графики, ну и прикладной графики. На графику не было никого, а на нашу – всех иностранцев водили, привозили на наши выставки. Вот я вам покажу, можно встать?

Ю.З.: Конечно, конечно.



Логотипы, созданные Л.Н. Ратнер в мастерской прикладной графики

Л.Р.: (*раскрывает книгу*) Вот такая книга. Ну это, к примеру, это не мои работы.

Ю.З.: А вот оно что?! Такой простор для...

Л.Р.: Тут был простор для всего. Вот моя страничка. Тут, правда, мои теперешние работы. А вот это то, что называется теперь «фирменным знаком». Это очень интересно было, потому что нужно было десять – одиннадцать идей вложить в одну такую фитюльку какую-нибудь.

Ю.З.: Символ, знак, да?

Л.Р.: Знак предприятия – нужно было не меньше одиннадцати мыслей туда внести. Вот такими вещами мы занимались. Это было очень интересно, хотя я немножко скучала по чистому рисованию, потому что на самом деле я не очень это всё любила, но из-за того, что была такая изумительная атмосфера, вот когда они делали малейшее замечание, они говорили

Ю.З.: А «они» – это начальство?

Л.Р.: Совет, совет – то уже хотелось переделать всю работу. Просто невозможно было даже помыслить... Если не аплодисменты, которыми нас часто... Мы были молодые художники, с подружкой мы вдвоём пришли туда, там уже был такой сложившийся коллектив асов, а мы в общем ещё ничего не умели. Но, тем не менее, они почувствовали в нас что-то живое, и вот поэтому мне всегда хочется помогать молодежи, потому что я помню, как мне самой необыкновенно тепло и очень любовно помогали. И потом, когда случилась эта история с выставкой Белютина, когда нас исключали из Союза художников, то они,

весь совет, в полном составе – заслуженные деятели искусства – они ходили по всем инстанциям с нами вместе. Нас же без конца вызывали и требовали отчёта во всяких там партбюро, Союзе художников, МОСХ и так далее. Они всюду ходили с нами просто для поддержки и говорили: «Только не сделайте чего-нибудь, о чём когда-нибудь вы пожалеете, т.е. не просите прощения. Вы ни в чём не виноваты. Вы правильно поступали». Вот такие были люди. Это я не могу забыть.

Ю.З.: Откуда же в этой мастерской? Вы же получали заказы и, соответственно, какой-то идеологический посыл тоже был, чтобы генеральной линии тоже всё соответствовало?

Л.Р.: Ну тогда это уже были времена застоя, и особой идеологии не требовалось. И я всегда выбирала такие работы, где вообще это не требовалось, где можно было максимум рисунка, живописи применить. Там не было какого-то идеологического... Ну, были какие-то, но я всегда от них как-то отрешивалась. Ну вот, и когда эти замечательные художники все с любовью и с таким интересом относились к нам... Вот я помню, как мы с подругой делали театр для детей. Несколько лет мы делали для фабрики бумажные игрушки, фантастические проекты делали, всякие там сказки, делали фигуры, которые дети сами могли вырезать из бумаги и сами склеивать. И целые спектакли. И так повезло, что директор этой фабрики был тоже молодой, ужасно увлекающийся человек. Он говорил: «Делайте, что хотите, я у вас всё возьму». Почти всё это не шло в производство, но у него был музей, и он там всё это выставял. Помню, что мы ходили с ним в Парк культуры, мы катались на колесе там – ну вот такой он был молодой замечательный директор. Фактически я пришла туда *(в мастерскую прикладной графики- прим. ред.)* перекаптоваться пару лет, чтобы потом найти себе какое-то другое место. А потом, когда я поняла, что это за место, я осталась там на всю оставшуюся жизнь. И интереснее и лучше этого места я не знаю – там не было советской власти никогда. Не было никогда. Никогда тебя никто... никаких взяток не было, как сейчас. И тогда было много мест во всяких организациях, чтобы получить работу, нужно было... Я же сама помню, что меня пригласили сделать монументальную работу. Я ещё занималась монументальной работой. У нас главный художник нашего художественного совета, он же был главным художником выставок наших за рубежом, промышленных выставок за рубежом. Такой Побединский. Замечательный! Он так нас полюбил с подругой, просто влюбился в нас, и мы девчонки – двадцать три года, двадцать два – и он нам даёт работу: огромные панно метров по восемьдесят, которые будут установлены на нашем павильоне в Индии, в Нью-Дели. Или в Канаде, или в Японии в Осаке. Декоративные панно, и мы писали эти панно. Ну, мы делали эскизы, а потом художники выполняли под нашим руководством, а некоторые и мы сами выполняли. Но это было счастье просто.

Ю.З.: А на тему чего?

Л.Р.: Тема? Например, в Нью-Дели, я помню, был космос. Два панно нужно было сделать на эту тему. Потом было в Осаке, по-моему, тема образование. И я помню, мы написали огромную икону на деревянной панели, ну как бы СССР и в центре такое древо познания *(смеется)*, и сидит учительница с детьми, а там всё, вся страна как бы – огромное такое панно. Ну, вообще, была замечательная жизнь, нас потом уже всюду приглашали, и я чувствовала: это моё призвание на самом деле – монументальная работа. На строительной выставке для павильона РСФСР (каждая республика) нужно было написать панно. Я сделала танец, такой русский танец, тоже на дереве, причём это дерево нужно было обжигать паяльной лампой, чтобы было под старую доску. И у меня помощниками были мой муж – взрослый художник и его друг. Они должны были выполнять это всё по моему эскизу. Я ничего не давала им выполнить, я хватала, даже паяльную лампу у них вырывала и всё это делала сама. И я не чувствовала усталости, я почти падала с лесов несколько раз – это огромная работа была. И когда мы выполнили в срок, за десять дней написали это огромное панно, и потом когда был банкет в день открытия, то директор выставки сказал: «Когда я посмотрел на эту девочку вот с такими ручками и подумал: она завалит всю работу! Но сейчас – какую угодно работу хотите, я вам дам любую, пожалуйста, любую». Но мужу он потом сказал: «Но тридцать процентов мне». И я уперлась, потому что я была такая романтическая и не могла...

Ю.З.: Идеалистка.

Л.Р.: Идеалистка. Муж умолял меня, он говорил: «Ты нигде не получишь потом работу», потому что этот

Александр Николаевич Побединский, он умер, к сожалению. Он, конечно, там никаких взяток – даже и речи не могли быть, а этот – просто. Муж говорит: «Ты не получишь больше работы», и действительно, больше я никогда не получала таких монументальных заказов. А это моё, на самом деле, я монументалист.

Ю.З.: То есть этот человек, которому вы отказали, он блокировал вам...



С мужем Николаем

Л.Р.: Не то, чтобы он блокировал. Да, он был заказчиком... такой был Комбинат декоративно-прикладного искусства. Тогда мы все комбинатами существовали: Комбинат живописный, Комбинат декоративно-прикладной, графический. Средневековая такая система была. Ну и он там как-то... Там были совсем другие отношения, там только за взятки можно было эту прикладную декоративную [работу получить], больше я её не имела никогда.

Ю.З.: А вот молодые художники, ваши ровесники, те, кого вы знали – расскажите, пожалуйста, об этом, о вашей художественной молодости. С кем вы общались, с кем вы выставлялись?

Л.Р.: Я выставлялась и общалась уже потом, спустя много лет. Я получила мастерскую здесь довольно недалеко – дом Союза художников, три этажа мастерских. И вот в этом же доме мастерские и квартиры имели мои друзья. Это всё лучшие художники вообще мира сейчас. Да, они сейчас все уехали. Когда я бываю на Крымском Валу, они все там висят – это всё мои ближайшие друзья, которые принимали меня как равную, как свою. Прекрасные художники: Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эдик Гороховский, Эдик Штейнберг. Ну, в общем, это была тоже замечательная жизнь. Но это было уже чистое искусство: мы уже

выставлялись, мы делали работы уже не прикладные.

Ю.З.: Это были семидесятые, скорее?

Л.Р.: Я пропустила Белютинскую студию ещё. Довольно скоро меня после окончания института приняли в Союз художников. Это было большое дело, потому что работу через Союз практически можно было [получить], ну и вообще член Союза – ты уже кто-то! И при Союзе графиков (был ещё такой Союз графиков на Малой Грузинской) создавалась студия художников-профессионалов, которой руководил такой Элий Михайлович Белютин. Мы сначала про неё просто слышали. И, конечно, вы понимаете, что делать мы что-то делали, но, что делается в искусстве на Западе, мы не имели ни малейшего представления. Всё было законопачено: никаких журналов, никаких книг. Единственное было событие – это выставка Пикассо, которую вдруг показали в пушкинском музее, потому что он был тогда коммунистом и другом Советского Союза. Устроили выставку и думали, я уверена, что весь наш народ от этой выставки просто шарахнется, что и правда так и было.

Ю.З.: А в каком году?

Л.Р.: Я не могу вспомнить, в каком это году было. Это можно посмотреть где-нибудь. Это была первая и единственная выставка. А в основном музей был закрыт. Там был музей подарков товарищу Сталину всю мою юность, мы даже гипсы там не могли рисовать. И всё.

Ю.З.: То есть вся коллекция цветаевская – она вся была в запасниках?

Л.Р.: Всё было убрано в запасники, а были – бесчисленное количество всяких там... рисовое зёрнышко, на котором вырезалось под микроскопом...

Ю.З.: Краткий курс истории ВКП? (*смеется*)

Л.Р.: Да, что-то такое, в общем, что-то безумное; вазы всякие – ужас. И мы узнаем, что создается такая студия, что в этой студии обучает как-то необыкновенно художник, который знает всё, что делается на Западе. Конечно, мы ринулись туда, к Белютину, и он нас принял, и это тоже была сказка. Это было два года счастья, или три. Во-первых, мы занимались очень усердно, а он стал сразу выбивать из нас всякий академизм: мы рисовали левой рукой, мы печатали гравюры кедами, подошвами, ну и вообще – у него не было системы. Вся система создавалась, потому что много талантливых людей было, и все создавали её у него на глазах, на ходу. Ну и на всё лето мы снимали какой-то дом отдыха подмосковный, и там всё заполняли и жили.

Ю.З.: А сколько это примерно народу?

Л.Р.: Двести человек нас было.

Ю.З.: Двести человек были объединены вот так? Двести художников?

Л.Р.: Три или четыре курса было. А потом мы фраговали пароход и плавали на пароход по Волге – Оке. Ночью мы плыли, а днём разбегались по этим городкам, где мы останавливались, с огромными подрамниками, где-то садились там под кустом и писали с раннего утра до поздней ночи. Энтузиазм был невероятный просто! И потом вечером мы приходили на этот пароход, выставляли всё это в ряд и обсуждали. А потом пели песни, мы крутили романы, конечно. Это была весна – цвели яблони по берегам и пели соловьи, и это была сказочная жизнь. А пели мы в основном блатные песни, это тоже интересно: вся страна, в смысле – интеллигенция, пела блатные песни. Вот если вы смотрели – недавно показывали по телевизору спектакль театра Марка Розовского «Песни нашего двора», вот там пели эти самые песни. И это был восторг. Почему мы так были ими увлечены? Я до сих пор их обожаю, это всё. Никто не пел «Ландыши, ландыши» или «Подмосковные вечера», пели «Сижу на нарах, как король на именинах». (*Смеются*)

Ю.З.: Это какое-то ощущение свободы, хотя эти песни как раз не о свободе.

Л.Р.: Ну вся страна сидела в лагерях, и эти песни появились оттуда. Большинство этих песен было

имитацией, конечно, кем-то написанные «под». Потому что очень много в них было колоритного. Но мы спелись, у нас хор был потрясающий! (*смеётся*) Мы так наяривали эти песни! Так что команда матросов на нашем пароходе попросила устроить концерт для них. Но они не очень вслушивались в то, что мы поём, пока мы пели это для себя, а когда они разобрали, что мы поём, они так обиделись!

Ю.З.: Почему?

Л.Р.: Для них это было оскорбительным. Это была интеллигенция.

Ю.З.: То есть они предпочли бы «Ландыши»?

Л.Р.: Они бы – «Ландыши». Они думали, что мы «Ландыши» поем, а мы пели вот это всё: «И пайку чёрного мечтаю получить». (*Смеются*)

Ю.З.: А Окуджава тогда уже звучал?

Л.Р.: Окуджава появился, и наши мальчики принесли Окуджаву. И само имя было необыкновенное, и сами песни. Первые песни у него очень близки блатным тоже. У нас было два героя таких, которые умели хорошо петь под гитару – это Коля Воробьёв и Толя Жутовский, два друга. И вот они нам это всё пели. Мы просто обалдели, конечно. Мы сразу влюбились, и сразу эти песни у нас прижились, и мы их пели тоже.

И мы устраивали выставки. На выставки съезжался весь московский бомонд и вся дипломатическая школа Москвы.

Ю.З.: А где же можно было устраивать выставки?

Л.Р.: Мы снимали... Это был «застой» и практически можно было очень многое. Первая выставка у нас была – мы снимали Дом учителя. У них была художественная студия на Таганке, на Большой Коммунистической. Первая выставка наша называлась «Абстракционисты на Коммунистической» (*смеётся*)

Ю.З.: Звучит!

Л.Р.: Там вся улица была забита дипломатическими машинами, когда первая была выставка. Ну, потом эта «Бульдозерная», на ВДНХ – эти знаменитые выставки.

Ю.З.: «Бульдозерная» – это уже 74-й?

Л.Р.: Да, а эти в 60-е.

Ю.З.: Давайте вспомним те, которые пораньше.

Л.Р.: Ну вот наша выставка в Манеже была в 62-м году.

Ю.З.: А на Коммунистической перед этим.

Л.Р.: Перед этим, да, ну за год, может быть. Несколько лет было несколько выставок таких не очень громких.

Ю.З.: А вот эта на Коммунистической – она долго провисела?

Л.Р.: Не помню, сколько она провисела – ну недели две, наверное. Там не было скандала никакого, потому что как-то на неё никто особого внимания не обратил.

Ю.З.: Ну а как же, если дипломатические машины?

Л.Р.: Ну не знаю. Вот так было. Может быть, они начали приглядываться постепенно. Потом, когда мы уже стали матёрыми, когда мы уже знали, чего мы хотим, наш Элий Михайлович, он был такой харизматик, он умел завести нас... мы такие костры устраивали, и он говорил: «Друзья, мы всех этих академиков скинем, мы сами станем академиками!» (*смеются*) И мне как-то стало это казаться подозрительным. Он вот

так: «У нас у всех будут машины, дачи!» А то сначала было бескорыстное служение прекрасному искусству – мне было ближе. А тут он стал всё время куда-то исчезать, его всё время стали куда-то вызывать, и он ужасно взволнованный возвращался и говорил, что... Стал следить за порядком, чтоб никто не выпивал, чтобы никто ничего непотребного не делал – стал следить за этим. Это всё было странным. Потом он приехал и сказал, что нам предложили выставку в Манеже, и все должны дать работы, да, и будет правительство. А его, оказывается, вызывали в МК партии и там уже спрашивали: что такое происходит? И он купился на это. Он рассказывал, как мы все там горим, можно сказать. Конечно, никто не писал ни заводов, ни колхозов, ничего подобного никто не делал. И вот в назначенный день нам выделили помещение на втором этаже. Был понедельник. Выставка была «30 лет МОСХа» в это время – 1962 год.

Ю.З.: А вас тематически кто-нибудь ограничивал, настраивал?

Л.Р.: Нас никто не ограничивал. На первом этаже были Никонов, Андронов – была выставка, посвященная тридцатилетию МОСХа, и я там участвовала своими прикладными работами. Нас было четыре человека из Мастерской прикладной графики и из них членов Союза вообще трое. И мы внизу там тоже были представлены. Там нормальные были работы, плакаты какие-то, ну хорошие такие. А наверху, на втором этаже, мы показывали то, что мы написали в студии и во время этих путешествий. И вот начинается назначенный день. Я уже точно знала, что будет страшный погром.

Ю.З.: Почему?

Л.Р.: Ну, я знала, что от правительства ничего хорошего ждать нельзя. Я и говорю ему: «Элий Михайлович, будет плохо, и мне не хочется давать работы». Он: «Как? Если ты не дашь, я тебя прокляну! Ты что – трусила?» Вот так вот. «Евреи революцию делали, а ты трусила!». Ну я, конечно, дала работы после этого. И мы стоим (там такая лесенка на второй этаж), и мы стоим около этой лесенки, подъезжают чёрные «Волги»...

Ю.З.: А это был день обычный для посетителей?

Л.Р.: Нет, это был понедельник, без посетителей – выходной день. И выбегают мальчики в костюмчиках и с галстучками и становятся так вот, коридор образуя такой. И оттуда надвигается толпа. Вот если я найду эту фотографию... нет, наверное, я её не найду. Фотография из газеты у меня была оттуда: идёт впереди Хрущёв, Фурцева, Андропов, потом Серов, Сергей Герасимов – художники-академики. Серов был академиком, и он всё это затеял, потому что он хотел стать президентом Академии художеств на этой волне.

Ю.З.: Подсидев Герасимова?

Л.Р.: Нет, Александр Герасимов к тому времени, по-моему, умер. Место было вакантно, и он хотел стать на это место. Поэтому нас, Элия Михайловича держали как подсадную утку, а нас – тоже. Мы все в кучке, и все мы на виду, и все мы контролируем. И он (*Хрущев – прим. ред.*) сразу с порога, как только вошёл в зал, ещё ничего не видел, начал топтать ногами, кричать: «Безобразие! Пидарасы!». Ну, мальчишки были там с длинными волосами...

Ю.З.: То есть он даже не успел посмотреть...

Л.Р.: Ничего абсолютно! А дальше он пошёл: «А это что? А это что? Говно!» Вот так всё было, на таком всё уровне. Со мной там стояло два приятеля-художника – один мне говорит: «Я только одного боюсь, как бы мне не упасть и как бы ему не в ноги». Потом он начал кричать: «Всем вам выдадут загранпаспорта и всех вас, завтра же – в три дня уедете за рубеж – выгоним отсюда!». А тогда почему-то это казалось ужасно страшным чем-то. И всё в таком духе.

Ю.З.: То есть тогда это действительно как угроза воспринималось, да?

Л.Р.: Ну тогда никто не знал. Точнее, не было никакой эмиграции в помине, никто не знал, что это такое. Даже в 70-е годы так осторожненько просачивались туда, а тогда уж и подавно никто ничего не знал.

Ю.З.: Ну вот эти художники, в основном, просто молча это [слушали]?

Л.Р.: Нет, не молча. Такой Лёня Рабичев был, старше меня намного, он воевал, на фронте был, и он начал объяснять, что «Никита Сергеевич, вот у нас там внизу есть работы, которые мы делаем для народа, а это просто наши личные эксперименты...» «А! для народа одно, а для себя – другое. Вы – двурушники просто!» Ну вот так. С нами выставлялся Эрнст Неизвестный – скульптор, у него были маленькие бронзовые скульптурки. Андропов ему говорит: «А где ты бронзу берёшь? Ты мне еще ответишь!» (это было стратегический материал). А он (*Эрнст Неизвестный-ред.*) говорит: «Я вас не боюсь. Вы мне не тычьте! Я воевал на фронте, я вас не боюсь».

Короче говоря, они уехали. Крику было – не знаю сколько!

Ю.З.: В прессе, да?

Л.Р.: Но на следующий день в прессе появляется об этом на первой странице «Правды». Первая страница «Правды»! Фамилия моя, моей подруги и Лёни Рабичева, и ещё двух или трёх человек – больше членов Союза художников не было, а только мы были. Поэтому нас. По-моему, тогда же там были упомянуты Никонов, Андронов – вот эта вот «Девятка» тоже. Из студии [Белютина] больше никого не затронуло. Ну, мы начали собираться. Тогда нас начали в Союзе Художников постоянно вызывать: правление графической секции нас вызывает, правление бюро – ну, в общем, бесконечные административные инстанции Союза художников, мы везде должны были дать отчёт, что мы там делали. И вот тут члены Совета с нами ходили и говорили: только не просите прощения, не падайте в ноги... А мы и не думали, мы совершенно не испугались.

Ю.З.: А какую вы выбрали линию защиты?

Л.Р.: Мы объясняли это... я помню очень хорошо. Я стою, а передо мной сидит синклит этих маститых. Я выбрала себе одного, это Глебов, такой анималист, который был двоюродным братом Сергея Михалкова, и как две капли воды на него похож. И мои детские ассоциации, мне кажется, что он такой Дядя Степа добрый. И я ему все рассказываю. И действительно, он кивает, улыбается, добродушно так. А мы говорим: «Институт очень мало дал, хотелось расти, совершенствоваться. Художник должен расти (это правда была). Мы не собирались это нести как что-то уже найденное. Это все эксперимент». «А! Вам наш советский ВУЗ мало дал! Вы клевете на нашу систему образования!» Ну, в общем, всякая демагогия.

Ю.З.: То есть от вас не требовали покаяния?

Л.Р.: Нет, требовали. Но мы говорили: ну а как? Мы не понимаем. А в чем нам каяться? «В общем выйдете, мы сейчас посовещаемся» Одно из последних таких мероприятий – было пять или шесть, вызовов нас. Причем, я помню, что я стою, этому Глебову объясняю – сама искренность. Я представляю, что он смотрел на меня совершенно с удовольствием: такая девочка, щечки горят, глазки сияют, все объясняет как есть. И кивает мне, кивает добродушно. Ну, мы вышли в полной уверенности, что мы им все объяснили хорошо, все в порядке.

Ю.З.: Убедили. (*Смеются*)

Л.Р.: Потом приглашают: «Зайдите». Заходим. И они зачитывают: «За пропаганду враждебной буржуазной идеологии в советском искусстве таких-то, таких-то из Союза художников исключить». Ну и все, мы ушли. У меня в это время еще только должен был родиться мой сын, и мне вообще все это было до лампочки. Потом он родился, и тем более все равно было... Да, еще: «Мы разошлем ваши фамилии по всем московским издательствам, и вы никогда не получите больше работы». И они разослали таки наши фамилии. Но мы никогда не имели такого количества работы, как в это время (*смеется*).

Ю.З.: Почему так?

Л.Р.: Нам же все звонили. Все считали своим долгом, наоборот, нам дать работу. Мы были герои. Это было другое уже время. Это было не сталинское время, когда люди на другую сторону улицы переходили при виде каких-то репрессированных. Мы были герои. И все нас хотели поддержать. Это было

замечательное совершенно время! Ну какое-то время мы собирались еще. Естественно, студия наша очень быстро распалась. Белютин наш потом купил себе дачу. И туда начал ездить народ. Ну, там несколько человек из старых к нему ездило. А в основном, он набрал каких-то других. Почему мы не захотели с ним больше общаться, я не могу сейчас четко сформулировать. Он в прошлом году умер. Недавно прошла передача, было, по-моему, как раз шестьдесят лет с тех пор. В основном, говорила его жена, Нина Молева. Это было страшно неприятное все: она все подавала как немыслимый героизм, ни одного слова о студийцах, которые, собственно говоря, были главными во всей этой истории и которые создали эту систему. Ну и это было неприятно как-то. Но не хочется говорить плохо, потому что, на самом деле, это было прекрасное время, и мы обязаны ему тем, что он вырвал нас из хотя бы этой академической муры, из этой муштровки, и показал нам какой-то такой немножко другой мир.

Ю.З.: А вот вы упомянули «Девятку» и Никонова, вы близко были с ними знакомы?

Л.Р.: Я близко не была с ними знакома. Вот мой учитель, Поляков Валентин Иванович, да. Это в нашей студии, вот этой мастерской прикладной графики, была студия художественная для нас, и он вел там занятия. Он уже был очень известный, очень маститый, ездил за границу, у него были замечательные выставки. Он был старше нас намного, ну лет на пятнадцать, наверное, если не больше. У него в Измайлове была мастерская, там же где эти ребята были. Они с ним дружили или как-то были знакомы. И я знала некоторых из них, Андропова, например, по этой же мастерской. Он приходил часто, мы иногда вместе сидели, выпивали там, чего-то такое было. Такая небольшая дружба. Они были живописцы, мы их очень уважали, вот этот суровый стиль, который они принесли в живопись, когда не было этого сладкого сюсюканья, а началась проза жизни, за которую им тоже нагорело, тогда же. Я могу вам рассказать интересный эпизод с этим Серовым.

Ю.З.: С академиком?

Л.Р.: С академиком. Он стал таки им. Он показал, что он вовремя сигнализировал о такой страшной диверсии, которая творится в нашем родном советском искусстве – вот такая вот студия образовалась. И это нужно прижать, уничтожить, держать, не пущать и так далее. Он стала академиком. Но потом ему показалось этого мало, и он захотел защитить докторскую диссертацию по совокупности статей, каких-то статей, которые никто не читал никогда. И на этой защите присутствовал мой друг Валентин Иванович Поляков. Это знаю я с его слов. В Манеже это было, защита. И вот, уже все готовы проголосовать, и вдруг встает двадцатилетний какой-то студент и говорит: «Позвольте мне сказать несколько слов. Я студент Суриковского института. Мне двадцать лет. Я знаю, что мое мнение абсолютно ничего не значит. Я ровным счетом никто. Но я просто представил себе, что вот пройдет еще двадцать лет. У меня будет сын. Он вырастет и скажет: «Папа, ты присутствовал при этом безобразии и ничего не сделал». Вот только ради этого я хочу сказать, что это позорное мероприятие, и я не хочу присутствовать при этом событии».

Ю.З.: Кто же это осмелился-то?

Л.Р.: Вот такой мальчик.

Ю.З.: Незвестный герой?

Л.Р.: Имя его осталось неизвестным. Они так растерялись, что объявили перерыв. А перерыв, оказывается, перед голосованием нельзя делать по протоколу. Короче, это перенесли еще на какой-то другой день. Потом перенесли еще. И так эта защита не состоялась. И с тех пор я знаю, что и один в поле воин.

Ю.З.: Да, да. Казалось бы, да?

Л.Р.: Вот такая вот история была. Да.

Ю.З.: А ваш учитель. О нем можно несколько слов?

Л.Р.: Можно.

Ю.З.: Как получилось, что вы восприняли его именно как учителя? И у кого он учился, в свою очередь?

Л.Р.: Он кончил Академию художеств, то есть тот же Суриковский институт. Он ездил тогда во Францию.

Ю.З.: Как это получалось, интересно ?

Л.Р.: От Союза художников особо маститых посылали.

Ю.З.: Так он, что, получается, писал тогда всяких рабочих?

Л.Р.: Да нет, он никогда не писал рабочих. Он писал очень красивые картины. Вот это, например, после Франции – вот эти две и вот эта тоже там написана его работа (*указывает на работы на стене – прим. ред.*). Ну он устраивал выставки. Почему-то с него не требовали никаких страшных рабочих. Он никаких рабочих не писал.

Ю.З.: Как это ему удавалось в эту щель...

Л.Р.: Как-то ему удавалось. Он был какой-то везунчик, счастливчик. И как ему удавалось, я не знаю. Он делал монументальные работы для всяких санаториев, я вспомнила. Его приглашали написать какую-нибудь «Девушку на берегу моря» на стене какого-нибудь санатория. Я помню, что я ему помогала даже делать какие-то эскизы. Вместе мы делали что-то такое. Мы очень, очень близко были связаны. Он как-то немножечко даже ухаживал за мной. Мы ездили в Гурзуф. Это было совершенно сказочно. Маленькой студией мы ездили, нас было человек шесть – семь. Писали там под его руководством. Ну в общем, это была тоже прекрасная поездка. Весна, в мае, все цветет, море... И как-то было все замечательно. К сожалению, он умер от инфаркта.

Ю.З.: Рано умер, да?

Л.Р.: Рано. Где-то ему было за пятьдесят тогда.

Ю.З.: А из этой компании, с которой вы плавали на пароходике, у вас с кем-то сложились потом отношения?

Л.Р.: Конечно, это были все ближайшие друзья! Но со мной случилась потом такая история. Я думаю, вот тут уже вы поймете. Спустя какое-то время, я начала задумываться о Боге. Потому что я вдруг начала понимать, что что-то есть большее, чем просто живопись. Я вообще всегда была такой, как это называется? Не максимализм, а перфекционизм, что ли. В общем, какие-то сверхзадачи меня всегда увлекали больше, чем непосредственно только живопись.

И вот я помню: я сижу... Мы ездили в дома творчества. Эта тоже целая замечательная пора в жизни. Союз художников раз в год посылал, можно было поехать на два месяца в дом творчества и там делать все, что ты хочешь. Так мы были связаны заказами: постоянно заказы и заказная работа, а тут ты делаешь все, что тебе хочется, и потом только эти работы оставляешь там, рассчитываешься этим.

Ю.З.: А, вот так?

Л.Р.: Да. Ну и это была прекрасная жизнь. У нас было несколько домов творчества в Подмосковье, на озере Сенеж, в Челюскинской... С мастерскими литографскими прекрасными и офортными. В Гурзуфе тоже была мастерская, в Хосте. И я все время в эти дома творчества ездила. Ну там было вообще сказочно. Во-первых, это была совершенно особенная жизнь: все художники, все молодые, все талантливые. И работали, и гуляли, и выпивали, и вообще все было... Веселились. И какой-то момент я помню: я сижу на таком огромном пне, который наполовину в воде, на озере. И по нему ползают муравьи. Я сижу, смотрю на них и думаю: «Вот я для них кто? Я для них Господь Бог. Сейчас захочу – и я их в воду сброшу. А для Кого-то, Кто на меня смотрит, я – муравей такой». И вот эти вот мысли меня все время занимали.

Ю.З.: При этом не было какого-нибудь внешнего воздействия? Толчка? Человека? Просто как-то интуитивно, да?

Л.Р.: Нет, не было. Это было абсолютно свое. Но я начала, конечно, прислушиваться к тому, что кто-то где-то... Прочесть никаких книг – ни Евангелия, ни Библии – ничего нельзя было купить. Да может быть, мне и в голову бы не пришло... Естественно, я знала, кто такой Христос, и в общих чертах я знала его историю. Да, я еще после окончания Полиграфа поступила в Университет на искусствоведческий. Мне хотелось еще немного теории. Вот почему я сейчас преподаю? Откуда это все? У нас тоже хорошо была поставлена история искусств. Но там я получила очень много, и там меня сразу тоже отметили, потому что мне было интересно очень учиться.

Ю.З.: У кого вы там учились?

Л.Р.: Ну там был Павлов такой тогда. Но вы, наверное, их не знаете. Это уже старшее поколение. Кто же тогда еще был? Алпатов...

Ю.З.: А Сарабьянов с вами учился?

Л.Р.: Сарабьянов – нет. Я думаю, что он к тому времени уже кончил. Он был все-таки старше меня. Я его там не помню. Но, во-первых, я училась на вечернем...

Ю.З.: А Лазарев?

Л.Р.: Да, Лазарев, Попова.

Ю.З.: Но Попова, наверное, не преподавала еще?

Л.Р.: Наверное, еще не преподавала, да. Я помню, что потом я уже ходила на ее лекции. Когда она преподавала, я уже там не училась. Ну, короче говоря, меня хотели и в аспирантуру. Но я уже разрывалась между делом – рисованием и теорией. И в конце концов, все-таки я выбрала... и ходила туда уже как вольнослушатель. Хотя я поступила сразу же. Кому же я сдавала экзамен? Очень известный искусствовед... Вылетело из головы.

Ю.З.: Из русских или из западноевропейских?

Л.Р.: Нет, из русских. Искусствовед.

Ю.З.: Я имею в виду специализацию. Там же есть русская и зарубежная?

Л.Р.: Виппер был. У нас там преподавал. Ну не помню я его фамилию. Русский. Русское искусство.

Ну, в общем, тоже было прекрасное время. Я очень это все любила. Самое главное, я была старше на пять лет, чем мои сокурсники. И разница была колоссальная. Они норовили удрать куда-нибудь. А мне все было интересно. Мои работы были совершенно другие, мои ответы на экзамене, видимо. Всего пять лет, но в этом возрасте очень много значит.

Ю.З.: При этом художественное образование..

Л.Р.: Да, и я помню, что когда я пропускала и уже не могла, уже было много работы и надо было её выполнять, я ужасно переживала, что вот я не могу.

Ю.З.: А диплом?

Л.Р.: Диплом надо было, но я не защищала, я перешла уже на вольнослушателя. Я не могла – это уже было слишком для меня, я стала просто как вольнослушатель. Закончила это всё, хотя мне без конца присылали всякие бумажки, приглашения, уговоры были и всё такое. Потом вот студия началась. Она меня уже поглотила полностью, белютинская. Да, и вот началась эта странная тяга к религии, без всякого абсолютно толчка извне, без всего.

Ю.З.: И в вашей среде этого не было?

Л.Р.: Было. В моей среде это было, но в моей среде, вот Илья Кабаков – они всё знали лучше меня и для

меня они были учителями в этом смысле. Но для них это было поводом, толчком, спекулятивным чем-то. Они из этого делали какие-то работы. Потом они кончили увлекаться христианством и увлеклись буддизмом, иудаизмом. То есть вот так.

Ю.З.: То есть такое романтическое диссидентство?

Л.Р.: Даже не диссидентство. Мы, например, самообразовывались таким образом. Мы собирались в чьей-нибудь мастерской и кто-нибудь делал по современной философии. Бердяева, Булгакова – кто-нибудь рассказывал прочитанное.

Ю.З.: Это всё в самиздате?

Л.Р.: Да, в самиздате. А мы там делали наброски в это время – вот такие у нас были дни. Это было здорово очень. И они потом это всё забрасывали и начинали увлекаться чем-то другим, а я в это уже въехала. Я помню очень хорошо, у нас такой был Шиферс. Он был режиссер, невероятно умный, с очень большим гонором – он был у нас духовный лидер. И я у него всё время про Христа, про христианство спрашивала, и он мне даже какую-то свою книжечку подарил с надписью: «Лиле, которая задавала удивительные вопросы». Я думаю, удивительные, наверное, по глупости или по незнанию ничего. Я не знаю, что он имел в виду. Вот так вот это меня всё больше-больше-больше затягивало и затягивало, но жила я всё равно такой же жизнью, как и все.

У меня были друзья самые близкие – Штейнберги. Эдик Штейнберг умер в прошлом году. Они уехали потом во Францию, где он очень известным стал художником – супрематист. И его жена Галя – искусствовед, она стала моей крёстной матерью.

Ю.З.: У неё такая же фамилия, у Гали?

Л.Р.: Галя Маневич. Они уехали. И вот я к ним домой постоянно ходила, у них собиралась вся элита художественная. Сам Эдик вряд ли кончил десять классов, но был очень колоритный, очень талантливый и вообще замечательный человек, и очень талантливый художник. Я стала спрашивать у всех: зачем креститься нужно? Почему Богу нужно, чтобы люди крестились? Да, ещё до этого я у себя в «Промграфике», в своей Прикладной графике как-то раз пришла, и они там прочитали книжку Моуди «Жизнь после жизни», книга такая была.

Ю.З.: А она тоже была к тому времени уже переведена?

Л.Р.: В самиздате. И я говорю, что мне такие книжки совершенно неинтересны, потому что если веришь – так веришь, никакие научные доказательства не нужны, я считаю. И тут мой приятель-художник, не очень близкий, говорит: «Да, ты совершенно права, действительно, вера – это всё». Начал мне горячо говорить, что Бог есть, да, надо креститься. Потом мы вышли на улицу, долго гуляли, он мне всё это говорил. А меня только одно удивляло, что он говорил это с такой горячностью, а человек вообще такой молчаливый, суровый.

Ю.З.: Это о ком, простите?

Л.Р.: Такой Саша Шумилин, художник в нашей «Мастерской прикладной графики», очень талантливый, красивый человек. Он потом стал моим крёстным. И я смотрю на него со стороны и говорю: «Знаешь, ты меня не убедил. Я всё равно не понимаю, зачем Богу нужно, чтобы мы крестились? Зачем? Это же не в партию вступить? Зачем Ему нужны формальности такие?»

Ю.З.: Как правило, все так и говорили...

Л.Р.: Да. «И вообще, зачем нужна Церковь, я тоже не понимаю. Кому она нужна? Я лучше пойду в лес, на природу, там Бог ближе гораздо...». Ну потом мне стало его жалко, думаю: ну так человек старается ради меня. Я говорю: «Ладно, ты меня не убедил, но если у тебя есть какие-то друзья, кто-то, кто меня убедит, я согласна с тобой к этому человеку пойти». Он мне звонит в тот же день: «Я нашел такого человека. Такой человек есть. Давай через неделю встретимся в метро Новокузнецкая и мы пойдем с тобой к этому

человеку». Я думаю: ничего себе! Чего это ему это всё так далось? В этот день я прихожу, мы встречаемся в метро, он весь больной, постуженный. Я говорю: «Сидел бы дома, лечился бы лучше». «Нет, – говорит, – для такого дела я готов на карачках поползти». Тут я уже думаю: «Интересно...». Ведёт он меня в церковь, как уже потом я поняла, это церковь Всех Скорбящих Радости около Третьяковки, вот эта вот казаковская или баженовская, не помню. Церковь эта мне ужасно не понравилась, всё мне там не понравилось. Вечерняя служба была, было начало поста, это все я уже потом узнала, была пассия, короткая такая служба вечером. Всё не понравилось: священник какой-то суровый, входит-выходит, занавес какой-то – всё ужасно театрально. Кончилась служба, он подводит ко мне небольшого, очень красивого человека молодого с такими чёрными кудрями до плеч, такой Гаршин, маленький такой, и знакомит: «Михаил Ардов». Который ещё тогда священником не был, а был там чтецом. И он нас приглашает к себе домой, и мы едем в аэропортовский писательский городок. У него там квартирка уютенькая, такая пятиэтажка, и, значит, мебель красного дерева, иконы висят, колокольчики. В общем, такая снобистская, околехристианская, как мне кажется, квартира. И он почему-то решил, что я хочу креститься, а я хотела просто спросить «зачем?». Когда он узнал, что я художница, стал ужасно поносить искусство, художников: «крестятся, сами не знают зачем, какая ответственность, сколько я крестил – никто в церковь не ходит. И вообще эти художники...» В общем, жуткое понёс мракобесие сплошное. А я уже читала Бердяева, Булгакова, Флоренского, я уже ему это всё предъявляю – «А! это всё еретики страшные! Безобразия!»

Ю.З.: Такой радикал.

Л.Р.: Да. Он, кстати, таким и остался почти. «Может, вы ещё и Толстого любите?» – «И Толстого люблю». В общем, он совершенно меня изничтожил. И я думаю: «Боже мой! Что это такое? За что? Вообще это какой-то страшный обскурантизм и страшный мракобес! – и это христиане?» Думаю: бежать отсюда и никогда больше к этой Церкви не подходить.... И в этот момент, когда я так подумала, у меня вдруг такое ощущение, что если я сейчас уйду, то что-то самое важное в своей жизни я потеряю. Вот чёткое, отчётливое чувство. Вот я стою как будто на краю пропасти. Ну, мы ушли – я ужасно разгневанная, рыдала там от обиды, от всего. За что он? Пришла домой, уже ни о чём другом думать не могу: «Как же так? Ведь вся культура русская создана христианами. Как же так? Что же это такое было?»

У меня был еще друг, намного меня старше, на тридцать лет, который из семьи белоэмигрантов, был увезен в эмиграцию, в детстве еще. Вырос там во Франции, тридцать лет прожил, был иподьяконом церкви там, стал писателем, дружил с Цветаевой, такой Алексей Владимирович Эйснер. Потом вместе с мужем Цветаевой Эфроном какие-то выполнял задания там, о которых я ничего не знала, ну что-то смутное. У него там была жена и годовалый ребенок, и он захотел вернуться после, в хрущевские времена, сюда. Но ему сказали... нет, ему еще сказали: в Испанию надо, тогда была война с Испанией. Ему велели туда ехать, он был адъютантом Мате Залка и написал потом об этом книгу. Она называется «Одиннадцатая интернациональная». Бригада, где наши все были: Кольцов там и все. Прошел через эту войну, вернулся, ему разрешили приехать сюда. Сначала он поехал один, семья осталась в Париже. И тут его вызвали... В органы, естественно. И сказали: «Вот, будешь на нас работать здесь». Он сказал: «Нет, я не для этого, я так не согласен». «Ну а не согласен, тогда, значит, в Воркуту». И он протрубил в Воркуте, а потом в Караганде в ссылке семнадцать лет в общей сложности.

Ю.З.: А семья?

Л.Р.: Семьи он больше никогда не видел. И когда он вышел оттуда, а там, правда, ему повезло, он сидел с какими-то замечательными людьми. Гнедич, вот я помню. В общем, какие-то выдающиеся люди там сидели. И они все были врагами советской власти, лютыми, а он был страшный ее поклонник. И он ее все время защищал перед ними, а они думали, что...

Ю.З.: Даже после того, как его...?

Л.Р.: Ну он считал, что это ошибка. Он тут не жил, ни одного дня! Он считал, что это ошибка, какая-то роковая ошибка. Они считали, что он – стукач, посаженный им. Ну потом они разобрались, что к чему и с ним подружились. В общем, он потом вернулся: ни квартиры, ни паспорта, ни гражданства, ничего. Но он тут как-то познакомился с моей подругой, тоже на тридцать лет его моложе она была, и «она его за муки

полюбила», и он на ней женился. Им дали комнату одну, потом у них родился сын, на год старше моего. Мой муж с ними тогда подружился первый. И вот он тогда говорит мне, муж мой (а муж мой был тоже такой, увлеченный советской властью, и он мне говорил: «Лес рубят, щепки летят, ты ничего не понимаешь»), потом он мне говорит: «Вот я познакомился с таким замечательным человеком, он семнадцать лет просидел и все равно верит в советскую власть». Я мрачно говорю: «Ну значит, дурак». (Смеются) Ну потом очень скоро он изменил, так же как и мой муж, они все поняли через какое-то время и стали уже прямо противоположные слова говорить, и он (*Эйснер – прим. ред.*) стал ярым диссидентом. Но я ему звоню, а у него сын, которому тогда было лет двенадцать-тринадцать, захотел креститься. Ну, он его крестил, они стали ходить в церковь. И поэтому я ему звоню и рассказываю то, что со мной произошло. Я говорю: «Что это такое, ты мне можешь объяснить – что это? Как вообще, что это за христианство такое? В какую церковь ты ходишь?» Он говорит: «Знаешь что, я тебя завтра, ну или там послезавтра, через неделю, отведу к одному священнику. Совсем другое ты услышишь». Ну, я уже хочу, потому что я уже хочу разобраться. И я в ужасе. Он меня ведет на Обыденку, к Илье Обыденному, тоже интеллигентская такая небольшая церковь. Там старенький батюшка, я ему это все рассказываю. Да, еще этот Ардов мне сказал: «Я знаю, почему вы хотите креститься. Потому что вы – еврейка, вы хотите спрятаться от антисемитизма, потому что в этой стране можно быть только или русским, или хотя бы православным». И это меня вообще взбесило, потому что я вообще и креститься-то не хотела. Я все это рассказываю этому старенькому отцу Владимиру, что вот искусством нельзя заниматься, что антисемитизм... Да, он мне говорит: «А в церкви еще больше этого антисемитизма», – Ардов мне сказал. «Никакого антисемитизма в церкви нет, – говорит отец Владимир. – Да что вы, хотите искусством – да занимайтесь на здоровье, рисуйте! Читаете Бердяева – да читайте себе на здоровье!» Ну, я думаю: «Ну что же такое, ничего не понимаю. Один говорит одно, другой – другое... Я должна разобраться». «Ну давайте, – говорит, – я вас сейчас окрещу». «Ну нет, я должна разобраться, где тут истина».

Начинаю уже хотеть понять, ко всем пристаю, ни у кого ничего нельзя, никто ничего не может [объяснить], и бояться, боялись очень многие. Ну, я хожу с этой мыслью: «Что же такое церковь теперь?» И вот мои друзья Штейнберги мне говорят: «Знаешь, мы тут ходим в церковь...» А они с детства крещенные, в церковь ходят регулярно.

Ю.З.: Вот это да – в те времена!

Л.Р.: Да, ходят. «Вот у нас есть церковь, давай мы тебя туда сводим, там хорошие священники, ты у них чего-нибудь спросишь». Ну, хорошо, пошли туда. Пришли, там молодой священник. Ну, думаю, чего он мне может сказать. А он говорит: «Знаете, – говорит, – я вам не могу ничего сказать. Извне этого не поймешь, это можно понять только изнутри. Вот походите с нами в церковь, захотите креститься – будете, не захотите – значит, нет». Ну, я начала ходить, туда, куда они меня привели – это Воскресение Словущее, в Брюсовском переулке.

Ю.З.: Это тоже интеллигентский приход.

Л.Р.: Интеллигентский, консерваторский хор там, все такое. Ничего не понимаю, абсолютно, все раздражает. Зачем-то становятся на колени, зачем-то целуют руку священнику.

Ю.З.: Ну, и эстетика, наверное, тоже раздражает?

Л.Р.: Эстетика ужасная, да. На стене написано «Явление Христа народу» Иванова, вообще все это – жуть, конечно (*смеется*). Наконец... а был тоже Пост великий, о котором я понятия не имела. Ну вот, Пасха наступает. Я иду ночью, на Пасху...

Ю.З.: Вместе со Штейнбергами?

Л.Р.: Нет, одна, почему-то их не было, не помню почему. Я иду одна. И вот я стою в углу, толпа страшная, духота жуткая, церковь маленькая, низкие своды, в углу меня зажали, вот так я стою зажатая и думаю: «Какой ужас, я должна буду простоять всю ночь! Потому что выйти невозможно». И я так совершенно машинально говорю, совершенно ни к кому не обращаясь, говорю: «Господи, сделай что-нибудь, выведи

меня отсюда, я тут умру». И вдруг я чувствую, как будто пространство вокруг меня расширяется, как будто мне легко-легко дышать. Самое главное, как будто рядом кто-то стоит, кто меня любит. Друг, стоит рядом друг и не даст волоску упасть. И любит меня! Меня заливает, я просто купаюсь в чьей-то любви!.. Я простояла всю ночь, не заметив, как она пролетела. Я потом летела домой, растолкала своего сына пятнадцатилетнего, маму, пытаюсь им рассказать, но ничего не получается, что такое там произошло. Иду к этому священнику и говорю: «Я не знаю, что такое со мной там произошло, что это было, но если у вас там так всегда, то я хочу быть с вами». Он говорит: «Ну ладно, приходите тогда-то» – назначает мне день. Ну, я опять струхнула, думаю: предаю веру отцов, хотя от отцов никакой веры ко мне не перешло.

Ю.З.: А, то есть в семье ничего...

Л.Р.: Я ж говорила, в семье ничего никогда не было. Самое интересное, что я уже потом, много лет после этого, когда отец оставался в Москве, во время того, как немцы подходили к Москве, во время войны, когда все власти бежали из Москвы 16 октября, а мы были в эвакуации, он уничтожил все документы, все наши детские фотографии, то есть он готовился к тому, что немцы войдут в Москву. И спустя много лет после его смерти, я в одном тайничке, в шкафу, нашла то, что он не уничтожил – этот тфилин, эта коробочка (*маленькая кожаная коробочка с фрагментом свитка Торы – элемент молитвенного облачения иудея – прим. ред.*) и свиток Торы, маленький. Куда-то это все у меня делось. Это он не уничтожил. То, за что его немедленно, конечно, поставили бы к стенке – это он сохранил. Вот это меня поразило. И я поняла, что, во-первых, евреи не бывают неверующими, видимо, и это как-то меня очень примирило...

Ю.З.: А это неизвестно от кого, да?

Л.Р.: Это из его детства, он кончил хедер, еврейскую школу, это из его семьи. Это никогда не показывалось нам, детям, никто этого не видел. Я уже совсем взрослая это нашла.

Ю.З.: У него рука не поднялась.

Л.Р.: Нет, он просто, наверное, и не помышлял об этом. Ну это, так сказать, отступление. А тут я, значит, боялась, что... Кроме того, я уже подумывала об эмиграции. Уже была массовая эмиграция. Я уже хотела, думала, не уехать ли нам в Израиль или куда-нибудь в Америку. Но тут я понимала, что если я крещусь, то уехать в Израиль уже точно не смогу, потому что там в анкете нужно было писать вероисповедание. Ну, в общем, все равно на утро я пошла. Я пошла, взяла с собой сына, вот этого Сашу Шумилина, который меня туда, вот эти мои друзья Штейнберги, мы все пошли туда.

Сам обряд мне показался всего лишь забавным, не более того. «Отрицаешься», там, плевать там надо и все такое. Когда он мне дал первое причастие, у меня все прямо поехало перед глазами, я просто должна была схватиться за стол, чтобы не упасть. И потом начались чудеса. Я – человек, жаждущий познания (*смеется*), у меня куча вопросов. У меня тучи вопросов в голове! Задать некому. Священники боятся. Когда вокруг священника образовывалась какая-то небольшая группа, его немедленно переводили куда-нибудь на другой конец Москвы. Очень следили, чтобы не было никаких таких вот общений. И кроме того, нельзя никаких книг, это сейчас – море. В тот день, когда я крестилась, один день продавали в церковном ящике Евангелие, Ветхий завет и Новый завет издания Московской патриархии. Один день! На следующий день их уже не было.

Ю.З.: Расхватали?

Л.Р.: Ну не знаю, расхватали, наверное. Я купила, конечно, и у меня очень долго все хранилось, потом куда-то потерялось именно то Евангелие. Но я ходила, помню очень хорошо, по улицам (уже мы жили здесь, на Речном) я ходила вот так вот, вдоль, там, где церковь, от своего дома до метро, и эти вопросы в голове, как в компьютере. Возникал вопрос – через секунду на него давался ответ. Вопрос – ответ, я получала совершенно исчерпывающий ответ, и я прекрасно понимала, что это отвечает мне сам Господь, что Он со мной проводит катехизацию (*смеются*), да, вот так это было. И я записывала иногда. Иногда потом мне попадались эти записи, несистематические, а так. Он обрушил на меня все. Он не

считался с тем, что я – младенец, хотя крестили со мной одновременно какого-то грудного младенца, и мы были на одном уровне понимания того, что происходит. Он не считался. Он обрушил все. И что-то я тогда понимала, а что-то я потом за всю мою [жизнь], более чем тридцать лет в церкви, понимала постепенно. И еще многое мне предстоит понять.

Ю.З.: А с отцом Александром Менем как вы познакомились?

Л.Р.: Сейчас, я еще сначала познакомилась с другим священником. Потом мы с сыном уехали отдыхать в Пушкинские горы, и там при каждом удобном случае мы бегали с ним в церковь. А я была, мы были в компании друзей моих ученых, всяких физиков, которые очень это не одобряли, поэтому мы бегали потихоньку.

Ю.З.: Тайком от них.



Пасхальная трапеза у о. Владислава Свешникова, 1981 год

Л.Р.: Но сына это очень увлекало, ему это понравилось. Вот, и потом я, значит, писала своему Саше Шумилину письма со всеми своими открытиями, все это я ему излагала. А, как потом выяснилось, он показывал эти письма своему другу священнику, вот этому отцу Владиславу Свешникову, с которым он уже подружился. И тот в какой-то момент сказал: «Ну приводи ее». И когда мы вернулись из этой самой нашей поездки, Саша меня к нему повел. И мы пришли в девять часов утра, ушла я в девять часов вечера. Я все время задавала вопросы (*смеется*). Иногда я пыталась уйти, понимая, что неудобно – там дети бегают за стеной, четверо детей у него. А он говорил: «Да бросьте эти интеллигентские штучки! Спрашивайте». Ему нравилось это все. Вот, и потом я попала к нему, я была одной из первых – у него еще не было своих, приход у него был в Тверской области, в деревне, но еще не было общины никакой, одной из первых была я. И мы начали ездить. Потом появились еще интеллигенты – ездить к нему в эту деревню, в Тверскую

область. Это было совершенно замечательно, экскурсия туда, это было целое паломничество: сначала едешь на электричке, потом на автобусе, зимой особенно, потом пешком надо было идти. И вот идешь: заснеженные деревеньки, темно, сумерки, идет снег, совершенно девятнадцатый век, и вдали на холме стоит церковь и там светится огонек.

Ю.З.: На кладбище, если я не ошибаюсь. Кладбищенская церковь.

Л.Р.: Да-да, на кладбище, кладбищенская. А там приходишь в дом, сидит отец Владислав в красной рубаше и слушает BBC (*смеются*).

Ю.З.: А как-то ваши друзья-художники тоже?..

Л.Р.: Мои друзья-художники меня сразу же осудили. Ну, во-первых, я перестала выставляться. Там была очень четкая программа у Свешникова: никакого искусства. Это было там. И я ничего, я в это верила, а откуда я могла знать? Это духовная деятельность душевного человека. Вы таким образом распространяете свою греховность только.

Ю.З.: Но когда вам примерно то же сказал Ардов, вас это оттолкнуло, а здесь вы...

Л.Р.: А здесь раз уже не один Ардов, а еще кто-то это говорит. И он мне это как-то обосновывал, объяснял, потом давал всякую литературу, там у них, знаете, Брянчанинов очень почитался и все такое.

Ю.З.: И это при том, что сам он по образованию, по-моему, киношник.

Л.Р.: Киновед. Он поэтому, отчасти поэтому. Он сам из богемы, они все богемные, вот Шаргунов, отец Александр, тогда Винсент Иванович такой был. Все там было. И они все стали ужасными, как это называется, блюстителями строгой нравственности. Вот. И мы туда начали ездить, потом мы снимали летом там в деревеньке избушки какие-то, жить было трудно, потому что мы были не приспособлены к этой жизни деревенской, готовить в русской печи. Но все компенсировалось вот этой духовностью как-то. Ну потом постепенно, постепенно я начала там увядать. Мне там нечем стало дышать. Евангелие мы там не читали почему-то, читали только Святых отцов. Считалось, что мы не готовы, что вообще Святые отцы все растолковали, объяснили, а кто мы такие, чтоб толковать Евангелие, это не для нас.

Ю.З.: Ну, и вы перестали рисовать, да?

Л.Р.: Нет, я рисовать не перестала, потому что это была моя профессия, это был мой кусок хлеба, но я делала только для денег. И радости уже... Как бы я занималась чем-то запретным. Сын мой Митя готовился поступить в университет на искусствоведческий, потому что он вырос в этой атмосфере, ничего другого он не слышал никогда – это тоже очень осуждалось. Вообще высшее образование считалось чем-то недостойным. Надо заниматься простыми работами, которые не требуют от тебя ничего, а все свои силы отдавать церкви. Работать сторожами, истопниками – вот это вот. Было такое время, когда сидели... Поколение истопников, знаете? Ну это было немножко позже, то есть мы были позже, чем то поколение, настоящее, которое, действительно, ничего другого делать не могло. У нас можно было все делать, на самом деле. Я все время к нему приходила на исповедь и говорила: «Грешна, батюшка». «Ну в чем же ты грешна?» «Осуждала священноначалие». Начинала ему рассказывать, что я про него думаю, с чем я не согласна. И со многим была не согласна, и все это ему выкладывала. Я говорю: «Ну как может архитектор быть плохим архитектором? Или врач? Или там учитель? Как можно быть, не вкладывая душу в профессию? Отдавая ее, допустим, церкви, а это делая кое-как?» Ну, в общем, постепенно, постепенно я впадала в депрессию. Все мои друзья, уже многие уехали на Запад, уже многие тут прославились, стали знаменитыми, а я выпала из этого совершенно, и они меня ужасно осуждали за это вот. «Тебе столько дано, и ты вообще не пользуешься ничем».

Ю.З.: А вас это тоже как-то настораживало, такой резкий крен? То, что вы удалились так?

Л.Р.: Нет, меня это не настораживало, я абсолютно искренне ушла в церковь. Я нашла там очень много для себя ценного, это как раз меня несколько... Но я потом подумала, что я ничего не приобрела в итоге и была близка к настоящей депрессии. Я помню, что мы сидели у него дома, на кухне, здесь, в Москве, и он

(о. Владислав Свешников – прим. ред) говорил речь, он очень такой был, любил говорить красивые проповеди, в духе XIX века, длинными такими периодами. И он говорит: «Мы, православные, счастливые люди, у нас есть все: у нас есть Святое Писание, Святое Предание, культ Богородицы. У нас есть все. Мы сидим за пиршественным столом, иконы у нас есть». И я вдруг говорю так мрачно, неожиданно, сама для себя говорю: «Да, но за этим столом можно умереть от голода, как умер греческий царь Мидас, когда все, к чему он прикасался, превращалось в золото». Он так на меня посмотрел, с изумлением, а он все-таки был живой человек, ну и говорит, видя мое бедственное состояние: «Знаешь, – говорит, – может, тебе в Армению? Слтай. Там, говорят, есть какая-то замечательная община». Я никогда не была в Армении, никогда не было денег, всегда мечтала, а тут у меня вдруг был конкурс Достоевского как раз в это время, я сделала туда серию иллюстраций к «Неточке Незвановой», которую послала на конкурс в Берлин. Или не в Берлин – в Лейпциг. И там получила диплом. И у меня музей Достоевского купил эти работы. Буквально в эти дни появляются деньги, и я могу лететь в Армению. Через три дня я летела в эту Армению. Никого не знаю, кроме номера телефона главы этой общины – больше ничего! И из аэропорта значит, я была еще и не одна, со мной была еще одна наша прихожанка и ее сын, ровесник моего Мити, потом стал иконописцем. Мы звоним из аэропорта этому – Гамлет Закорян – звоним ему, и он говорит: «Вот садитесь на такой автобус, доезжайте до такой-то остановки, я вас встречу». Ну, приезжаем. Стоит человек, тонкое интеллигентное лицо, никак не похож на «центральный рынок». Ведет нас к себе домой, там милая красивая молодая жена, детишки маленькие бегают. Очень чистая, очень бедная квартира, абсолютно без всякого хрусталя, золота и ковров. И очень как-то с ними хорошо. Вот только я переступила порог, и сразу почувствовала какую-то атмосферу необыкновенной любви. Ну потом он, он физик был, работал на тамошней атомной электростанции, он должен был идти на работу, нас передал какому-то своему другу. Друг нас, значит, водил по городу, и все говорят только о Боге, что нас поражает. Потом привел нас к себе домой тот друг, нас стал там угощать чем-то. Потом он рассказывал, что я только одного боялся, что дома нечего есть, говорит. Ну там тоже все соседи набегали, и все только про Бога.

Ю.З.: Протестанты, что ли?

Л.Р.: Нет, это была Армянская церковь. Община была харизматическая, совершенно не. Они как бы в церкви только причащались, это была община, которую основали репатрианты армянские, а они, видно, перевезли с Запада это все, потому что это была живая такая, харизматическая очень, община. Много всего делали, многим помогали. У них уже были малые группы по месту жительства, мы туда потом поехали, прекрасная совершенно группа была, пели под гитару песни христианские. Это было вообще никогда не слышанные нами... Я устала. Можно отдохнуть? Я уже просто больше не могу.

Ю.З.: Конечно, конечно. А это 80-е годы, да?

Л.Р.: Да, это 80-е годы.

Ю.З.: Давайте сделаем паузу. <...>

Л.Р.: Ну вот, в общем, мы пробыли [в Армении] дней десять тогда, наверное. И за эти десять дней – я уезжала оттуда, как будто я обрела родную семью.

Ю.З.: Из Армении?

Л.Р.: Да, я рыдала, уезжая от них. Ничего подобного не было у нас. Это была такая любовь: я была обласкана, я была залита их любовью. Причём, в первый раз в жизни меня любили ещё за то, что я еврейка. Для них это какой-то прямо особый... не знаю...

Ю.З.: Знак избранничества.

Л.Р.: Знак избранничества. Они именно так относились, да.

Ю.З.: Именно вот представитель народа ветхозаветного...

Л.Р.: Народа, любимого Богом, избранного. Они мне без конца об этом говорили. И это было вообще невероятно. Потом, они вообще были необыкновенные, они необыкновенно жили, как никогда и никто.

Например, мы едем с Гамлетом в троллейбусе. Я сижу напротив, они сидит с какой-то женщиной незнакомой рядом. Он ей что-то говорит, она ему что-то отвечает. Он ей ещё что-то, несколько фраз. Она смотрит на него с удивлением, отвечает. Потом он ещё говорит ей несколько фраз, она уже смотрит на него с изумлением просто, и мы встаём – наша остановка, мы выходим. Я говорю: «Что ты ей говорил?» – «Я спросил у неё, который час? Она мне ответила. Тогда я спросил, знает ли она кто создал время? Она не знала, и я ей объяснил». Вот так они жили.

Или у них там был замечательный такой Ашот Ашекян – композитор, который все эти песни чудные сочинял. Он рассказывает, что его послали в командировку в Россию куда-то, в русский город. Зима, снег, темно, он не знает куда идти, стоит... Говорит, стою, шапку снял, стою, молюсь. Проходит мимо какая-то женщина и спрашивает у меня, не знаю ли я дорогу на автобусную станцию? Я ей говорю, что я не знаю дорогу на автобусную станцию, но я знаю дорогу на небо. Я над ней помолился – она покачалась, и мы разошлись в разные стороны. Вот так они жили.

И, конечно, влюбилась во всё это, ничего не понимая, и начала ездить туда, как только могла. Как только могу – так туда. И увлекла всех. Все начали туда ездить. И все приезжали оттуда и говорили, что мы как на небе побывали. Это было вот так вот.

Ю.З.: Все из общины отца Владислава?

Л.Р.: Все из общины отца Владислава. И сам отец Владислав, наконец, поехал туда. Мы поехали вместе с его дочкой младшей, Митя мой и ещё два Митиных друга. И я не могу передать... Они очень много делали. Потом я начала ездить. Там резня в Сумгаите – я туда. Они крестили беженцев из Сумгаита по триста-четыре человека зараз. Они их размещали в горах, в пансионатах и крестили – это было такое чудо, просто вот присутствие Духа Святого, необыкновенное чувство. Потом землетрясение – я там, потому что они ухаживают за больными, за ранеными, ходят в госпитали, и я тоже с ними вместе. Потом они стали строить дома для этих потерпевших и построили целую деревню для них, ну, с помощью зарубежных каких-то спонсоров, но своими силами. Построили какую-то фабрику для них швейную, чтобы могли работать. Они их обращали тоже. Те говорили: «Кто вы? уходите отсюда!» Сначала они говорили: «Вы же живы, целы-невредимы, ваши дети живы, а вы нам про своего Бога голову [морочите]». Они замолчали, ну просто так ходили, убрали, уносили, приносили, перестилали, ничего не говоря. Потом они стали спрашивать: «А кто вы, собственно, такие, что вы к нам ходите?» И они начали им проповедовать. И когда я в следующий раз приехала, я застала совершенно других людей: они сияли, они пели эти песни, они были уже совершенно счастливые обращенные люди.

Да, ещё там были забастовки... У нас в Москве ничего не было никогда в жизни, никаких забастовок никто не видел. А там начались забастовки – весь город. По радио с утра объявляют, что в такие-то, такие-то, такие-то предприятия, по таким-то улицам идут – там, значит перекрывается движение... Такие-то заводы работают, такие-то улицы свободны. Все идут на площадь перед оперным театром. И вот стоит там вся эта толпа, вся площадь забита людьми. Все стоят, очень друг друга опекают, очень внимательны: если тебе плохо, тебя сажают и вызывают скорую, над тобой зонтик раскрывают, потом по рядам хлеб этот... лаваш и воду передают. В общем, атмосфера просто братства совершенного. Наверху стоит горнист и играет какие-то военные гимны старинные, а площадь, не разжимая рта, вся поёт эти гимны... не разжимая губ – вот нельзя придраться, да? Потом однажды в один прекрасный день – вертолет, вертолёты стали... Забили все подъезды к этой площади БТР-ами...

Ю.З.: Да-да, БТР. А бастовали-то они насчёт чего?

Л.Р.: Против правительства. Они бастовали за свободу, за демократию, за выборы. «Комитет Карабах» образовался, за присоединение «Комитета Карабаха» к себе. В общем, всё это было у них. Ну потом их похватали, посажали, в Москву привезли, «Комитет Карабах» сидел в Бутырках. И в какой-то день приезжает, значит, Гамлет с женой ко мне и говорит: «Хочешь, мы пройдем с молитвой вокруг Кремля, а потом вокруг Бутырок с молитвой пройдем? Их выпустят, – он говорит, – после этого их выпустят». Их выпустили через три дня, правда. Мы прошли вокруг всего Кремля, на Красной площади мы остановились против Мавзолея, и она сказала, Джема, жена его: «Сатана, ты построил себе

эту крепость, но мы тебя не боимся! Наша крепость – Иисус Христос». Вот всё было так.

Ну потом... Отец Владислав был в диком восторге, он благословлял площадь эту крестом, ходил в облачении, его там обожали все – священник! Но по Москве стали ходить слухи, что Свешников своих чад духовных посылает к монофизитам. Потому что они считались монофизитами, хотя это неправильно. Он запретил туда ездить. И я говорю тогда, что если вопрос ставится: вы или они, то я выбираю их. И продолжала туда ездить; написала ему письмо (недавно его нашла), где я объясняю всю свою позицию. Ну, меня проклинали там, с проклятиями... Сказали, что я еду к еретикам, что я предательница.

Ю.З.: Как у нас это скоро!

Л.Р.: Да. Ну вот. А потом они мне говорят, сами армяне: «ну ты так не наездишься к нам. У вас в Москве всё это есть. Есть отец Александр Мень. И у нас есть друзья – его прихожане: Карина и Андрей Черняки, мы у них всегда останавливаемся, когда в Москву приезжаем».

Ю.З.: А вы не слышали этого имени – отец Александр Мень?



Лидия Николаевна Ратнер

Л.Р.: Нет, конечно, я слышала сто раз. Его не слышать было нельзя! Но мой отец Владислав говорил: «это ересь! Всё, что он говорит, ересь!» И весь круг (отца Владислава – прим. ред) его называл еретиком, и Саша Шумилин мой, и все. Но я же не знала, я верила.

Ну вот, я приезжаю в Москву, а они ко мне заявляются – Карина с Андреем, с Мишкой, тогда маленьким.

И всё – началась другая жизнь: я начала к ним ходить в малую группу, потом они пригласили меня, была встреча с отцом Александром Менем у них дома. Была встреча «Искусство и христианство», на эту тему.

Ю.З.: А это уже всё-таки ближе к 90-му году?

Л.Р.: 88–89-й год.

Ю.З.: Это когда он уже стал выступать по телевизору?

Л.Р.: Когда он везде выступал, да.

Ю.З.: И публичные лекции, я помню, и так далее.

Л.Р.: Да, да. И вот на этой встрече....

Ю.З.: Последний его год буквально...

Л.Р.: Да, да, да. Я выступила тоже, потому что я ещё считала, что искусство имеет и много минусов. Туда пришло очень много народа. Я помню, Илюшекно был, ещё кто-то – в общем, все поэты... Катя Гениева. У Черняков толпа была народу. И отец Александр. И так сидела, а он – напротив буквально. У меня в голове крутилась фраза из какого-то стихотворения Лермонтова. Фраза такая: «Я, Боже, не Тебе молюсь». Не Тебе – значит кому? И кому – я не знаю. Что за стихотворение, я не знаю. Как называется, не знаю, как начинается, с каких строк, не знаю, но найти, значит, невозможно. А вот крутится. И вот я буквально достаю с полки томик Лермонтова, открываю на этом стихотворении и там такие слова:

Не осуждай меня, всесильный,

И не кори меня, молю,

За то, что мрак земли могильный

С ее страстями я люблю;

За то, что мир земной мне тесен,

К тебе ж проникнуть я боюсь

И часто звуком грешных песен

Я, Боже, не тебе молюсь.

И дальше он просит освободить его от этого дара:

...и тогда к тебе на тесный путь спасенья,

к тебе я снова возвращусь.

Я это стихотворение читаю публично, первый раз я их всех вижу. А разговор был о том, что Серафим Саровский был современником Пушкина, и что было бы, если бы не было Пушкина, а было бы два Серафима Саровских, например. Может быть, революции тогда бы не было? Вот тут я и выступила с этим стихотворением. Отец Александр сказал: «Ну это стихотворение, эта тема заслуживает отдельного вечера». Встал и ушёл. Я так и не поняла, что он имел в виду и как он к этому отнёсся. Посмотрел он на меня весьма сурово.

Ну потом я ещё к ним некоторое время ходила, а в Новую Деревню (в этом подмосковном поселке служил о.Александр Мень – прим. ред.) не ездила, считала, что всё равно-то он еретик. И Саша мой Шумилин меня в этом поддерживал. Но потом всё-таки я попала к нему. Ну и когда я попала и всё рассказала про отношение к искусству... Конечно, он сказал, что всё это – чушь собачья, что на самом деле всё прекрасное и надо заниматься искусством, надо только пускать туда Бога, быть с Богом и следить, чтобы там не было ничего соблазнительного и так далее, и так далее.

А я когда рассказывала, помните, о том, что я сидела на пне, по которому ползали муравьи? Я тогда сделала целую серию литографий на тему вот этого: большое и маленькое. Это меня тогда очень занимало. И я взяла «Гулливера» Свифта и сделала серию как бы не прямых иллюстраций, но вот этого контраста: великаны – лилипуты. И именно это была первая попытка сделать что-то религиозное. И с этой серией меня пригласили, я поехала в Америку. И там у меня было несколько выставок и вот я это показывала, и там это всё очень нравилось. У меня купили эти работы.

Ю.З.: Они сейчас там, да?

Л.Р.: Они сейчас там. Это литографии, поэтому какие-то оттиски там, какие-то здесь. Я помню мальчик такой, лет восемнадцати... У меня была большая, огромная литография: царь-великан сидит, на первом плане свеча, и он держит вот так в пальцах Гулливера. И он у меня спрашивает, что это значит? Про Гулливера он никогда не читал, никогда не слышал. Ну и мне надоело – никто не читал! – надоело им объяснять, кто такой Свифт. Я говорю: «Вот так советский человек себя чувствует себя в своей стране, в руках своих властителей». Это до них дошло. (*Смеётся*) Он говорит: «А тут свеча, ведь маленький человек освящён светом, сказал он, он ведь освящён светом». И купил этот лист, я помню, у меня. То есть Свифта они не знали, но духовную составляющую они...

Ю.З.: Считывали.

Л.Р.: ...как-то понимали. У них было другое видение, христианское как раз. Это меня как-то очень тронуло.

Ю.З.: Там за вами никто идеологически не присматривал, в Америке?

Л.Р.: Нет, Слава Богу, там никто не присматривал. Там, Слава Богу, ничего этого не было.

Ю.З.: Вы порочили советский строй такими словами, такими речами.

Л.Р.: Уже было не то время, все эмигранты были там, и я была там... Мне там плохо было, на самом деле... то есть все американцы ко мне очень были хороши и добры, но я была в эмигрантской среде, в которой всё время ругали советскую власть и Россию. И это меня доводило, а я как-то очень беспокоилась за неё, и сознание, что между мной и домом целый океан, меня просто убивало. И мне как-то было из-за этого там неуютно, я поняла, что я там жить не могу, и вообще не могу там жить. Я поехала отчасти, чтобы проверить: могу ли я? Чтобы, может быть уехать туда? Вот. Но не смогла.

Ю.З.: А вот возвращаясь к отцу Александру Меню – вы, получается, до его гибели знали его не так много?

Л.Р.: Год примерно, да.

Ю.З.: И как-то смогли войти в его общину?

Л.Р.: Понимаете, общины у него не было. Это была не община собственно. Это был огромный, совершенно, как я теперь понимаю, неуправляемый приход, где каждый был сам себе голова. Это была интеллигентская вольница, и было много маленьких отдельных дружб. Он создавал малые группы – были такие. Вот у Черняков была малая группа, такой был Бессмертный, не Серёжа Бессмертный, а его брат Андрей Бессмертный, он сейчас в Америке. Был тогда Меерсон там, но я его уже не застала, он раньше уехал. Ну какие-то были отдельные группки, но в целом не было на самом деле прихода дружного, как сейчас у отца Александра Борисова, такого не было. Но всё равно была его (*о.Александра Меня – прим. ред.*) личность – конечно, феерическая, конечно, фантастическая. Насколько я это тогда поняла, мне нужно было освободиться от своих стереотипов ложных. Он, конечно, их очень быстро разбил, но как-то я робела, я чувствовала свою вину, я ещё была связана с отцом Владиславом. Была двойственность. Полное фактически освобождение и понимание, что он такое появилось только, когда его уже убили – тогда всё мне стало ясно.

Ю.З.: А когда наступил этот день, 9 сентября 1990 года, убийство это страшное...

Л.Р.: Тогда, да мне позвонила Маша Тёмина, которая сейчас живёт в Израиле, которая стала малой сестрой

(*католическая община Малых сестер-ред.*), и сказала, что убили. Я даже просто сразу не поняла, я просто не могла, это не вмещала... Мы ездили в Семхоз, бывали у него дома, но в основном, конечно, Новая Деревня была. Ну, конечно мы все помчались туда... Ну, там это всё было невыносимо просто, невыносимый какой-то камень, ужасный. Не понимали, что это. Как это понимать? Кто-то, наверное, лучше нас понимал. До сих пор это ужасным каким-то чудовищным... Даже я чаще вспоминаю смерть своих близких, чем его убийство, почему-то. Это как-то так невыносимо.

Ю.З.: Лилия Николаевна, а вот из ваших работ последних лет, я хотела, знаете, вас поспрашивать, может быть, в большей степени про вашу серию о Холокосте и о новомучениках. Вот расскажите, пожалуйста, как получилось.



Серия "Пророки". Моисей перед неопалимой купиной

Л.Р.: Ну, когда я начала жить в этом приходе, я почувствовала себя как выздоравливающая после тяжелой болезни. Я не могла вернуться сразу в искусство, у меня всё было заблокировано так прочно, что я не могла ничего делать. Ну что-то я делала. Меня начали просить иногда нарисовать какую-то обложку к чьим-то стихам или нарисовать, например, какое-нибудь поздравление в газету по поводу Пасхи какой-то рисунок, в нашу приходскую газету – вот такие робкие... Потом армяне меня очень много просили делать рисунков для них. Я начинала входить в новую для себя сферу, во-первых, а во-вторых, снова возрождать своё творческое что-то в душе. Но однажды меня попросили (уже я делала много рисунков всяких, для протестантов книжки оформляла с рисунками целыми сериями, но они мне самой не нравились, это были такие робкие какие-то рисунки, сама я их не любила, к Новому Завету, в основном). Однажды меня пригласили участвовать в одном детском проекте – была целая серия книжек

и развивающих игр (она у меня есть). И в этой книжке я должна была нарисовать Моисея, спускающегося с Синая со скрижалями. Я нарисовала, на удивление, в одно мгновение просто, необыкновенно легко и радостно. Мне сказала редакторша и автор этого проекта, что всё очень хорошо, только нельзя ли его сделать не таким евреем? Я сделала его вместо черноволосого и черноглазого, сделала его рыжим и голубоглазым (*Смеются*), потому что таких евреев тоже сколько угодно. Ну так это как-то было принято. А потом я решила вернуть своего первого Моисея и нарисовала его для себя просто. А потом... я начала... открываю в любое место, и у меня сразу получается рисунок.

Ю.З.: Библию?

Л.Р.: Библию. И у меня сразу получается рисунок. И я рисовала как сумасшедшая, из меня просто они выходили сами. И они были все похожи на моих дядей, тётей и на моего сына – это всё были мои родственники. И необыкновенно легко и радостно я всё это делала. Потом... У меня были друзья во французской одной общине – община, которая устанавливала дружбу как бы с Ветхим Заветом, с Синагогой. Они были католики, но их служение было такое. Они все ездили в Израиль, изучили прекрасно иврит, все песни еврейские, все праздники, все обычаи, гебраистами многие стали. И вот они мне предложили эти работы мои показать на выставке, а выставка называлась «Единство в сердце». Был такой большой симпозиум международный...

Ю.З.: Во Франции?

Л.Р.: Во Франции, в Нормандии. Как раз там было пересечение разных путей... И в старинном соборе XII века необыкновенной красоты... Значит, они мне сказали: давайте ваши работы, сначала пришлите нам фотографии – я прислала. У них там замечательный очень толковый менеджер был, который их уже показал всем своим и уже обзавёлся кругом почитателей моих будущих. Потом они сказали, что давайте присылайте работы. Чтобы прислать работы, я должна была пройти через Министерство культуры и заплатить огромные деньги. Они шли всячески навстречу: сказали, что это всё одна серия, сделали какую-то минимальную... Но минимальная – всё равно была огромная, и тогда я придумала такой хитрый приём: я завернула их во всякие плакаты, календари, сделала огромный рулон и с кем-то с оказией послала их туда. Через какое-то время – я ничего не знаю: дошли – не дошли? Волнуюсь, пишу. Они: «какие работы? Мы ничего не получали! – Как? Я же вам послала календари? – А! Мы думали, ты это просто нам такие сувениры прислала, мы их куда-то под кровать засунули». В общем, достали их из-под кровати, чудно совершенно окантовали и сделали совершенно изумительную экспозицию. Там я не одна была, там было нас шесть человек. Я потом покажу: они сделали такой буклетик, приглашенный билет. Там был, значит, католик один, один был араб-мусульманин, был кто-то из протестантов и я была, православная. И выставка называлась «Единство в сердце». Изумительной красоты экспозиция: каждая картина была подсвечена маленьким фонариком, были выложены какие-то газоны из дёрна зеленого – в общем, сказочная совершенно. Я таких экспозиций никогда не видела. И всё это в стенах старинных, из тёсаных камней и своды такие. Была конференция, и мы все были представлены. Я была представлена очень смешно: «православная из Москвы, являющая славу Израиля» (*смеётся*). Все мои работы там были куплены, и мы потом с сыном два года ещё жили на эти деньги. Это было первое признание, по сути дела, там – на Западе, где не так просто получить это.

Ю.З.: А когда это было?

Л.Р.: Это был 2000 год. Ну, и потом я начала дальше делать эту серию. И здесь было много выставок. У меня в Литературном музее в Москве была выставка. Поскольку я всегда думаю над причиной антисемитизма, то в процессе этой работы я вдруг поняла, в процессе моего вхождения в Церковь, я уже была в Церкви... Церковь очень много значила для меня, кстати, благодаря отцу Владиславу я попала сразу в Церковь. Я была абсолютно церковным человеком: пойти в воскресенье в церковь – это закон, иначе невозможно. Так же точно и мой сын, который крестился потом, через год после меня, он тоже попал в эту среду. И не было такой силы, которая удержала бы его в 16–17 лет, в таком возрасте, когда наоборот...

Ю.З.: уходят.



Серия "Пророки". Авраам и Исаак

Л.Р.: ...уходят. Ну, вот и я всё ходила-ходила... да, что я хотела сказать? Потом я поняла, что причина антисемитизма... сначала я думала, что в том, что мы такие все самые умные, самые талантливые и нам просто все завидуют. Потом, что мы везде чужие, живём на чужой территории, а очень при этом активные – нас не любят. Потом я поняла, что это ненависть на самом деле к Иисусу Христу, Его апостолам и Его пророкам. Это ненависть к Богу большого количестве людей, потому что ничем другим это нельзя объяснить. Потому что там и сказано: «Меня гнали, будут гнать и вас». И это точно, так это и случилось. И когда я это поняла, то я начала этих своих пророков помещать в пространство концлагеря. И первая моя выставка об этом была на Покровке (*Культурный центр «Покровские ворота», созданный католиками – прим. ред.*), где я на одной стене повесила пророков, а на другой стене напротив – эти же пророки, но коллажами на фоне виселиц реальных – фотографий, на фоне труб крематория, на фоне барачных и колючей проволоки. И ещё когда повесила, я помню, думаю: а у них как раз Пасха католическая в этот день открытия, и, думаю, сейчас Жан-Франсуа, который хозяин этого выставочного зала, Жан-Франсуа Тири придёт (он не видел работ). Я говорю: «Сейчас придёт Жан-Франсуа, увидит и скажет: «Что ж такое: у нас тут праздник – Пасха, а вы тут виселицы нам повесили!» Пришёл Жан-Франсуа, посмотрел и говорит: «Какое счастье! Мы сегодня будем показывать первый раз фильм, посвященный Катыни. Первый раз в России открыто, нам разрешили. И как раз эти ваши работы как будто специально для этого здесь». Вот так всё Бог устраивает.

Ю.З.: А что касается новомучеников?

Л.Р.: А новомучеников потом я поняла, сделавши этот Холокост. Я уже как бы поняла, что я пока могу делать только то, что рвёт душу и то, что само получается. То, что мною водит кто-то. И у нас был отец Кирилл Каледа (*настоятель храма Новомучеников Российских на Бутовском полигоне – прим. ред.*) в храме, и он замечательно рассказывал о Бутовском полигоне... Ну, конечно, всё это и знала сама, но когда пришёл человек-свидетель, то я как-то прониклась. Он говорит: «Помните, когда вы берётесь за ручку двери своего храма, чтобы войти туда, вспоминайте каждый раз, что за эту ручку брались те, кто своей жизнью заплатил за ваше право ходить туда». Это меня просто пронзило. И я тогда подумала, что я должна сделать ещё и эту серию. Рисовать Новый Завет я не могу, я поняла это. Не знаю почему. То ли потому, что очень много на эту тему нарисовано? Ветхий Завет я хоть сейчас сяду и пожалуйста – любую картинку без всяких эскизов, а это – не могу. А это я должна сделать – новомучеников. Я и тоже поняла, что я буду делать коллажи, то есть на фоне руин всяких церковных, разрушенных церквей я буду рисовать их всех: Иисуса, Богородицу, как арестантов в этих полосатых робах. И Троицу я нарисовала тоже – всех в полосатых робах и нимбы из колючей проволоки. Может быть, это немного литература – я не знаю, но они тоже получались у меня сами. Причём делала я это в то страшное лето, когда была эта тропическая жара – 40 градусов, и когда горели леса. А я живу в деревне, где кругом эти леса и всё это горело там, и просто выйти из дома было нельзя. Я сидела с закупоренными окнами, завешанными простынями мокрыми и по десять часов рисовала вот это всё, в каком-то невероятном подъёме и экстазе, совершенно не замечая этой жары.

Ю.З.: Вы рассказывали, что вы ещё плакали...

Л.Р.: А потом я начала плакать, уже когда я сделала всё. Когда делала, я была только в совершенной радости от того, что я это делаю. А когда я сделала всё, я вдруг начала плакать. Вот слёзы льются сами, без повода, без всякого предлога. Вот мне надо было тогда на эту больницу вашу пойти (*смеётся*). Я сижу на берегу, у нас там водохранилище, совершенно райские пейзажи, огромное количество воды, такой полуостров: с трёх сторон вода, с четвёртой – лес. И слёзы льются рекой. Солнце светит, утро раннее – прекрасно всё, а я рыдаю. Еду в метро встречаться с друзьями, в гости – и рыдаю в метро. Это продолжалось целый год, потом я начала болеть: у меня начались проблемы с позвоночником, боли страшные. И когда я попала к врачу (и вот с глазами проблемы тоже очень серьёзные) гомеопату – они же спрашивают всегда: «какие стрессы вы пережили?» Я говорю: «ну, какие стрессы, я просто живу в состоянии постоянного стресса всегда, у меня стресс всегда». И когда я рассказал, что я рисую, как я вообще всё это... Они сказали: «Если вы хотите выздороветь, вы должны немедленно это всё прекратить и рисовать что-то другое совершенно». Ну вот так.

Ю.З.: Ну, вы мало того, что их нарисовали, вы ещё их возили с выставкой.

Л.Р.: Я их возила с выставками, но это получалось само собой. Тоже Бог все делал. Меня пригласили во Владимир на конференцию с докладом «Библейская семья в искусстве». Там всё делала одна женщина-филолог. Она говорит: «Давайте устроим вашу выставку здесь? Вот у нас тут напротив городская галерея». Она меня туда повела и познакомила с директором галереи – он очень ухватился, и мы привезли туда работы мои, развесили их буквально за один день, и народ повалил просто. И причём – это Владимир! Понимаете, напротив этой галереи был монастырь. Сейчас это здание принадлежит... как это называется?.. ну, областная патриархальная часть...

Ю.З.: А! Епархиальное управление?

Л.Р.: Да, Епархиальное управление Владимира. А на стене висит небольшая мемориальная доска, что в этом здании в 20-е годы было расстреляно столько-то тысяч верующих. Приехало на мою выставку невероятное количество телевизионщиков и всяких журналистов. Молодые ребята. Они берут у меня интервью, я помню, что я дала шесть или семь интервью и ни разу не повторилась. Я стала не только рассказывать, я начала проповедовать. Я им говорю: «вы живете в таком городе, вы слышали, что такое Владимирский централ, например? Пересыльная тюрьма? Вы читали эту табличку?» Они не читали. Я им всё это рассказываю – они слушали меня со слезами на глазах. Потом они написали у себя в газетах, что я не только показала, в общем замечательные работы, но ещё проявила себя как миссионер, что,

я поняла, Бог от меня и хотел.

Ещё куда-то я с ними (*с выставкой о новомучениках – прим. ред*) ездила. Да, на Покровке была выставка. Если вы заметили, на Покровке никто не говорил, почти никто не говорил обо мне – эта выставка была для них. Эта выставка была для них, для всех посетителей, это меня очень обрадовало. Все рвали друг у друга микрофон, все хотели что-то сказать, от старого до молодого. Помните, там был такой Дима Строцев, поэт из Минска замечательный... Всем было что сказать. Потому что она разбудила у каждого, что у них наболело, у каждого. Я поняла: вот это я делала для них. Вот это главное! Не художественные достоинства или недостатки, а вот это: что я попала в какую-то болевую точку. И там была одна дама, о которой я, по-моему, выступая, сказала. Дама очень интеллигентная, мы с ней встретились, когда я только повесила эту выставку и пошла... а этот день был у Соловецкого камня, когда читают имена расстрелянных всех, и каждый может прибавлять своих. Поскольку у меня тоже есть, я пошла, чтобы прочесть, я прочла и прибавила своих, и это для меня каждый раз святое мероприятие, обязательное. Когда я могу, я обязательно хожу туда. И там я встретила эту даму. Она мне говорит: «Я была на Покровке, видела ваши работы...» А там у меня есть такая работа, где как бы сверху, с птичьего полёта, снята Красная площадь и идёт демонстрация, а на ней – я нарисовала на этом фоне – рука, и к руке на верёвке...

Ю.З.: марионетки?

Л.Р.: Дети привязаны! Дети, которых как бы спасает эта рука, вытаскивает оттуда. Она говорит: «Как вы глумитесь над таким событием, как 1 мая! Вот это мне не понравилось. Это было для нас счастье: мы были молодые, мы пели, мы веселились». У меня просто горло перехватило, я говорю: «Я тоже была молодая, пела и веселилась и ходила на эти демонстрации, но сейчас для меня это – повод для покаяния, потому что под этой площадью в застенках в это время, когда мы пели и веселились, пытали и расстреливали ни в чём не повинных людей...» Вот это я рассказала, я помню, тогда.

Ю.З.: Да, то есть, как по-разному воспринимаются такие, казалось бы, сейчас уже понятные вещи...

Л.Р.: Да, как по-разному. Это просто безумие! Как можно вообще сейчас, когда всё известно, говорить с умилением об этих первомайских демонстрациях! Это стыдно просто.

Ну вот. Так что я, памятуя все-таки свои тяжелые состояния здоровья, когда я целый год была на обезболивающих, не могла разогнуться просто, я решила сделать паузу. Я рисую сейчас, но рисую по просьбе нашей одной прихожанки и очень хорошей писательницы-поэтессы иллюстрации к детским сказкам её, и как бы нахожу в этом успокоение и удовольствие, и пока от меня мои болячки отступают, я чувствую. Может быть, я вернусь ещё к этим темам, но надо взять какой-то тайм-аут.

Ю.З.: Дай Бог Вам сил и здоровья! Держитесь! Спасибо.

Л.Р.: Спасибо.

Фотографии и иллюстрации работ любезно предоставлены Л.Н. Ратнер и Ю.Э. Зайцевой.